

~~XXXXX~~
3K13
M-27 49(49)
4
X
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КАРЛ МАРКС.

Гражданская война во Франции

(1870—71 г.).

—
С предисловием Ф. ЭНГЕЛЬСА.

—
Перевод с немецкого под редакцией Н. ЛЕНИНА.

—
Государственное издательство.

МОСКВА.—1919.

3K13, 9/44)
M-27

К. МАРКС.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ВО ФРАНЦИИ

(1870—71 г.)

С предисловием ~~Ф.~~ ЭНГ'ЛЬСА.

Перевод с немецкого под редакцией Н. ЛЕНИНА.



Отдел Печати Московского Совета Раб. и Красноарм. Депутатов.

МОСКВА.—1919.

ВВЕДЕНИЕ.

Приглашение переиздать воззвание Генерального Совета Международного Товарищества рабочих по поводу «Гражданской войны во Франции» и снабдить его введением было для меня неожиданно. Я могу здесь поэтому лишь вкратце затронуть важнейшие пункты.

Я предпосылаю вышеупомянутой крупной работе оба кратких обращения Генерального Совета по поводу франко-германской войны. Делаю это, во-первых, потому, что в «Германской войне» есть ссылки на второе обращение, которое без первого не везде понятно. А затем потому, что эти два обращения, также написанные Марксом, являются не менее, чем «Гражданская война», выдающимися иллюстрациями удивительного, впервые проявившегося в «18-е Брюмера Луи Бонапарта», дара автора верно схватывать характер, значение и необходимые последствия крупных исторических событий в то время, как эти события еще только разыгрываются перед нашими глазами или только что кончились. И, наконец, потому, что нам в Германии еще поныне приходится изнывать под гнетом предсказанных Марксом последствий этих событий.

Разве не оправдалось то, высказанное в первом обращении, мнение, что, если оборонительная война Германии против Луи Бонапарта выродится в завоевательную войну против французского народа, то Германии придется вновь пережить те же несчастия — и еще в большей мере — которые постигли ее после так-называемых освободительных войн? Не имели ли мы еще целых двадцати лет бисмарковского господства, а вместо преследований демагогов — исключительный закон и травлю социалистов, с тем же полицейским произволом, с той же глубоко возмутительной интерпретацией закона?

И разве не оправдалось буквально предсказание, что присоединение Эльзас-Лотарингии «бросит Францию в объятия России» и что

после этого присоединения Германия должна будет либо явно стать лакеем России, либо после короткого отдыха начать готовиться к новой войне, и, именно, «к расовой войне объединенными славянскими и романскими расами?» Не бросило ли присоединение Германией французских провинций Францию в объятия России? Не заискивал ли напрасно Бисмарк целых двадцать лет благоволения царя, не принадал ли он при этом к столам «святой Руси» еще более раболепно, чем это имела обыкновение делать маленькая Пруссия раньше, чем она стала «первой европейской державой»?

И не висит ли постоянно над нашими головами Дамклов меч войны, которая в первый же день превратит в прах все бумажные союзы сильных мира сего, — войны, относительно которой ничего определенного неизвестно, кроме абсолютной неизвестности ее исхода, — войны расовой, которая отдаст Европу на разграбление пятнадцати или двадцати миллионам вооруженных солдат и которая не разразилась еще до сих пор только по этому, что абсолютная невозможность предвидеть ее результаты внушает нерешительность самому сильному из крупных военных государств?

Тем более следует поэтому сделать вновь доступными немецким рабочим эти полузабытые документы, блестяще свидетельствующие о дальновидности интернациональной рабочей политики 1870 г.

То, что я сказал об обоих обращениях относится также к «Гражданской войне во Франции». 28-го мая последние защитники Коммуны были в Бельвилле уничтожены превосходными неприятельскими силами, а через 2 дня, 30 мая, Маркс прочел генеральному совету свое произведение, в котором он в нескольких словах очертил историческое значение Парижской Коммуны; это было сделано с такой меткостью и верностью, какой не достигла вся последующая обширная литература по этому вопросу.

Экономическое и политическое развитие Франции с 1789 г. привело к тому, что каждая разражавшаяся в последние 50 лет в Париже революция принимала с необходимостью характер восстания пролетариата; оплатив своей кровью победу, пролетариат неизбежно выступает после нее с собственными требованиями. Эти требования, обыкновенно, были неясны и сбивчивы, в зависимости от степеней развития парижских рабочих, но все они, в конце-концов, сводились к уничтожению классовой противоположности между рабочими и капиталистами. Как оно должно произойти, этого они не знали, но уже

требование, несмотря на его неопределенность, заключало в себе опасность для существующего общественного строя; рабочие, предъявлявшие это требование, были вооружены, и обезоружение их являлось главной задачей для правящей буржуазии. Поэтому за каждой добытой руками рабочих победой революции следовала новая борьба, заканчивавшаяся поражением рабочих.

Это произошло в первый раз в 1848 г. Буржуа-либералы, принадлежавшие к парламентской оппозиции, устраивали банкеты для агитации за избирательную реформу, которая доставила господство их партии. Борясь с правительством, они вынуждены были все чаще апеллировать к народу и постепенно выдвигать на первый план радикальные и республиканские элементы буржуазии и мелкой буржуазии. За этими стояли революционные рабочие, ставшие с 1830 года гораздо больше политически самостоятельными, чем предполагали о них буржуа, даже принадлежавшие к республиканцам. Когда произошло столкновение между правительством и оппозицией, рабочие начали уличную борьбу; Луи Филипп исчез, а вместе с ним исчезла и избирательная реформа; вместо нее возникла республика, которая была объявлена победителями рабочими даже «социальной». Что надо разуметь под социальной республикой—этого не понимал никто; не понимали этого и рабочие. Но они были теперь вооружены и стали силой в государстве. Поэтому первым делом правительства буржуа-республиканцев, как только оно стало твердо на ноги, было разоружение рабочих. Это было сделано при июньском восстании, к которому рабочие были вынуждены нарушением данного слова, явным издевательством и, наконец, попыткой выслать всех безработных в отдаленные провинции. Правительство заранее обеспечило себе подавляющее превосходство силы, и, после пятидневного героического сопротивления, рабочие были побеждены. Началось избиение беззащитных пленных в размерах, невиданных со времен гражданских войн, предшествовавших падению римской империи. Буржуазия тогда впервые показала, как бешено она мстит пролетариату, когда он осмелится выступить против нее, как особый класс, с отдельными интересами и требованиями. Но все-таки 1848 год оказался детской игрой против неистовств 1871 года.

Буржуазии не пришлось долго ждать заслуженного наказания. Если пролетариат *еще* не мог, то буржуазия *уже* не могла править Францией; по крайней мере, в то время не могла; тогда она в боль-

шинстве была монархической и подразделялась на три династические партии и четвертую республиканскую. Ее внутренние междоусобицы позволили авантюристу Луи Бонапарту захватить все главнейшие орудия силы государства: армию, полицию, администрацию, и 2 декабря 1851 года низвергнуть последнюю опору буржуазии—национальное собрание. Настала вторая империя—эксплуатация Франции шайкой политических и финансовых авантюристов. Но вместе с тем промышленное развитие пошло с такой быстротой, которая была немислима при мелочно-трусливой системе Луи Филиппа в эпоху исключительного господства одной лишь небольшой части крупной буржуазии. Луи Бонапарт, под предлогом защиты буржуазии от рабочих и рабочих от буржуазии, лишил капиталистов политической власти; но его господство способствовало спекуляции, промышленному развитию, вообще, невиданному до тех пор расцвету и обогащению всей буржуазии в целом. Еще больше способствовало оно продажности и укласному хищничеству, центром которых стал императорский двор, получивший, таким образом, крупный процент с этого обогащения.

Но вторая империя являлась призывом к французскому шовинизму; она означала стремление к границам первой империи, потерянным в 1841 году, по меньшей мере, к границам первой республики. В пределах старой монархии, вернее, в еще более узких границах 1851 года, французская империя не могла долго существовать. Отсюда необходимость войн и расширение границ. Но никакое расширение границ так сильно не увлекало фантазию французского шовинизма, как расширение на немецком левом берегу Рейна. Одна квадратная миля на Рейне имела в их глазах больше цены, чем десять миль в Альпах или где-либо в другом месте. При второй империи требование возврата левого берега Рейна сразу или по частям было лишь вопросом времени. Это время пришло после австро-прусской войны 1866 года. Обманутый в своих ожиданиях «территориального вознаграждения» Бисмарком и своей собственной хитроумной политикой, Наполеон должен был обратиться к войне; война, вспыхнувшая в 1870 году, привела к Седану и к плену в Вильгельмское.

Неизбежным следствием разгрома была парижская революция 4 сентября 1870 г.; империя рассыпалась, как карточный домик, была снова провозглашена республика. Но у ворот стоял неприятель; оставшиеся в наследство от империи войска были частью, без надежды на освобождение, осаждены в Меце, частью находились в плену.

в Германии. В виду крайности народ позволил парижским депутатам бывшего Законодательного Корпуса образовать «Правительство Национальной Обороны». На это тем скорее охотились, что теперь все способные носить оружие, парижане были, в целях защиты, вооружены и зачислены в национальную гвардию, так что теперь рабочие составляли в ней большинство. Но вскоре выплыл паружу антагонизм между правительством, состоявшим почти поголовно из буржуа, и вооруженным пролетариатом. 31-го октября рабочие батальоны захватили ратушу и арестовали нескольких членов правительства. Измена, явное нарушение слова, данного правительством, и вмешательство нескольких батальонов мелкой буржуазии освободили арестованных; чтобы отвратить междоусобную войну в осажденном городе, старое правительство было оставлено у власти.

Наконец, измученный голодом Париж должен был сдаться 28 января 1871 года. Но он сдался на небывалых в военной истории почетных условиях. Форты были сданы, у линейных полков и мобилей отобрали оружие, и сами они стали военнопленными. Но национальная гвардия осталась при оружии и пушках, она только вступила в перемирие с победителями. Победители не решились войти с триумфом в Париж; они только заняли небольшой уголок его, состоявший почти исключительно из общественных садов, но и здесь они оставались всего два дня! В это время они, осаждавшие Париж в течение 131 дня, были сами осаждены вооруженными парижскими рабочими, неустанно следившими за тем, чтобы ни один «пруссак» не перешагнул узких границ предоставленного победителям уголка. Так велика была степень уважения к парижским рабочим со стороны того самого войска, пред которым сложили оружие все армии империи! Прусские юнкера, пришедшие для того, чтобы почитаться с очагом революции, принуждены были остановиться пред этой вооруженной революцией и салютовать ей!

Во время войны парижские рабочие настаивали лишь на энергичном продолжении борьбы. Когда после сдачи Парижа был заключен мир, Тьер, глава нового правительства, увидел, что пока парижские рабочие будут вооружены, господство имущих классов—крупных землевладельцев и капиталистов—будет непрочным. Первое, чем он себя заявил, это была попытка обезоружить их. 18-го марта он послал линейные войска захватить артиллерию национальной гвардии, снаряженную во время осады на общественный счет но под-

писке. Попытка не увенчалась успехом. Париж весь поголовно взялся за оружие, и началась война между Парижем и французским правительством, бежавшим в Версаль. 26-го марта была выбрана и 28-го провозглашена Парижская Коммуна. Центральный комитет национальной гвардии, имевший до тех пор власть и успевший уже уничтожить безобразную «полицию нравов», передал свои полномочия Коммуне. 30-го марта Коммуна уничтожила конскрипцию и постоянную армию и объявила национальную гвардию единственной вооруженной силой, при чем: в состав национальной гвардии входили все способные носить оружие; она отменила квартирную плату с октября 1870 г. по апрель 1871 г., а уплаченные уже домовладельцам деньги отнесла на счет будущей платы; она приостановила также продажу вещей, заложенных в городском ломбарде. В тот же день были утверждены в своем звании выборные в Коммуну иностранцы, так как «Знамя Коммуны есть знамя всемирной республики». 1-го апреля было установлено, что жалованье для служащих Коммуны, т. е., для ее собственных членов, не должно превышать 6000 фр. (менее 2400 р.). На следующий день было объявлено отделение церкви от государства, отмена государственных расходов в пользу религии и превращение в национальную собственность всего церковного имущества, а 8-го апреля было решено и постепенно осуществлялось удаление из школ религиозных символов, образов, молитв и пр., одним словом, «всего того, что относится к совести отдельных лиц». 5-го апреля, в виду расстреливания версальскими войсками пленных защитников Коммуны, был издан декрет об аресте заложников, который никогда целиком не был приведен в исполнение. 6-го апреля, при всеобщем ликовании, 137-м батальоном национальной гвардии была вытлена и публично сожжена гильотина. 15-го апреля было решено разрушить Вандомскую колонну, вылитую Наполеоном после войны 1809 г. из неприятельских пушек, и являвшуюся символом шовинизма и национальной вражды. 16-го мая это было приведено в исполнение. 16-го апреля Коммуна приказала переписать остановленные фабрикантами фабрики и разработать план для их эксплоатирования кооперативными товариществами рабочих, работавших в этих фабриках, и для объединения этих товариществ в один союз. 20-го апреля была отменена ночная работа булочников и уничтожены конторы для приписывания работы, составлявшие со времени второй империи монополию назначавшихся полицией лич-

ностей (перво-разрядных эксплуататоров рабочих). Приискиванием работы стали руководить мэрии 20 округов Парижа. 30-го апреля были уничтожены ссудные кассы, являвшиеся средством эксплуатации работников и противоречившие праву этих последних на их орудия труда и на их кредит. 5-го мая было постановлено уничтожить часовню, построенную во искупление казни Людовика XVI.

18-го марта резко и решительно проявился классовый характер парижского движения, мало заметный до тех пор, вследствие борьбы с неприятелем. Коммуна состояла почти из одних рабочих или сторонников рабочего класса, поэтому ее постановления отличались решительно пролетарским характером. Коммуна объявила частую такие реформы, которых лишь по своей трусости не провела республиканская буржуазия, но которые были основным условием для свободной деятельности рабочего класса, напр.: осуществление принципа, что религия *по отношению к государству* есть частное дело; или же это были реформы, непосредственно связанные с интересами рабочего класса и отчасти глубоко подрывавшие старый общественный порядок. Но город был осажден, поэтому могли быть сделаны только первые шаги. Уже с начала мая все силы уходили на борьбу со все прибавлявшимися войсками версальского правительства.

7-го апреля версальцы захватили переправу через Сену у Нелли, на западном фронте Парижа; но 11-го апреля генерал Эд нанес им поражение при их нападении на южный фронт. Те же люди, которые клеймили бомбардировку Парижа пруссаками, как святотатство, бомбардировали Париж. И эти же люди умоляли прусское правительство вернуть поскорее французских солдат, плененных при Седане и Меце, для того, чтобы завоевать Париж. Постепенное возвращение этих войск дало версальцам в начале мая решительный перевес. Это стало ясным уже 23-го апреля, когда Тьер прекратил переговоры об обмене парижского архиепископа и целого ряда других попов, задержанных в Париже заложниками на одного Бланки, выбранного уже два раза в Коммуну, но заключенного в Клерво. Яснее это обнаружилось в тоне речей Тьера; будучи до тех пор сдержан и двусмыслен, он теперь стал вдруг дерзок, груб и угрожающ. 3-го мая версальцы заняли на южном фронте редут Мулен-Сакэ, 9-го—превращенный бомбардировкой в развалины форт Исси, 14-го—Ванв. На западном фронте они постепенно продвинулись по главной линии укреплений, занимая многочисленные местности и деревни, доходящие до городской стены. 21-го мая, благодаря измене и

вследствие нерадивости стоявшей здесь национальной гвардии, они вошли в город. Пруссаки, занимавшие северные и восточные форты, позволили версальцам захватить местность к северу от столицы, недоступную для них, согласно условиям перемирия, и, таким образом, атаковать город с той стороны, где он был всего менее защищен, так как там никто не ожидал нападения. Западная часть города, составлявшая город роскоши, сопротивлялась слабо. Это сопротивление становилось тем упорнее и сильнее, чем больше войска вдавались в восточную половину столицы, в рабочий город. Лишь после восьмидневной борьбы пали последние защитники Коммуны на высотах Бельвиля и Менильмонтапа; убийство безоружных мужчин, женщин и детей достигло теперь своего апогея. Версальцы свирепствовали целую неделю. Усовершенствованное ружье действовало недостаточно быстро, за то митральезы убивали целые сотни за раз. Le mur de fédérés (стена федератов, т.-е. коммунаров) на кладбище «Père Lachaise», где произошло последнее избиение, стоит еще и теперь, как немой, но многоговорящий свидетель бешенства, охватывающего господствующий класс, когда пролетариат решается выступить в защиту своих прав. Затем начались массовые аресты, так как оказалось невозможным, в конце концов, перебить всех арестованных. Из рядов пленных произвольно выбирали отдельные жертвы и расстреливали; остальных же отводили в большой лагерь, где они должны были ждать военного суда. Прусским войскам, окружавшим Париж с северо-востока, было приказано не пропускать ни одного беглеца, но офицеры нередко смотрели сквозь пальцы, когда солдаты повиновались больше чувству гуманности, чем своему начальству. Особенно прославился своей гуманностью саксонский армейский корпус, пропустивший многих лиц, бывших, очевидно, борцами Коммуны.

Если теперь, спустя 20 лет, взглянуть на деятельность и историческое значение Парижской Коммуны, то мы увидим, что изложение «Гражданской войны во Франции» нуждается в некоторых дополнениях.

Члены Коммуны разделялись на две партии: большинство, к которому принадлежали бланкисты, господствовавшие и в Центральном Комитете национальной гвардии, и меньшинство, образовавшееся из членов Международного Товарищества Рабочих—преимущественно

последователей Прудона. Бланкисты были тогда социалистами большею частью лишь по революционному пролетарскому инстинкту; только немногие из них поднялись до более ясного понимания принципов, благодаря Вальяну, знавшему немецкий научный социализм. Понятно, поэтому, что Коммуна упустила в области экономических отношений много такого, что, по нашим теперешним понятиям, необходимо было сделать. Труднее всего понять теперь ее благоговение пред банком Франции. Это было и политической крупной ошибкой. Банк в руках Коммуны имел больше значения, чем 10.000 заложников. Завладей она им, вся французская буржуазия начала бы оказывать давление на версальское правительство в интересах мира с Коммуной. Но еще более поразительно то обстоятельство, что Коммуна, состоявшая из бланкистов и прудонистов, часто поступала, несмотря на это, совершенно правильно. Понятно, что прежде всего прудонисты ответственны за экономические декреты Коммуны—как за их достоинства, так и за их недостатки. За политические же ее действия и ошибки—бланкисты. Как обыкновенно бывает, когда власть попадает к доктринерам, и те и другие, делали, по идее истории, как раз противоположное тому, что им предписывала их школьная доктрина.

Прудон, проповедывавший социализм мелкого крестьянства и ремесленников, прямо-таки ненавидел ассоциацию. Он говорил, что в природе, что она даже вредна, как всякая цепь, наложенная на свободу рабочего; что это—пустая догма, бесполезная и нелепая, противоречащая не только свободе рабочего, но и принципу бережливости в труде; что ее дурные стороны перевешивают ее пользу; в сравнении в ней конкуренция, разделение труда, частная собственность являются полезными экономическими силами. Ассоциацию можно допустить только в области крупной промышленности и крупных предприятий, каковы железные дороги; но эта область, по мнению Прудона, составляла лишь исключение. (См. *Idée générale de la Revolution*, 3 étude).

В 1871 году крупная промышленность перестала быть исключением даже в Париже, этом центре ремесленного производства изящных изделий; она стала настолько распространенной, что самым важным декретом Коммуны предписывалась такая организация крупной промышленности и даже мануфактуры, для которой не только требовались рабочие ассоциации на каждой данной фабрике, но и нужно было объединить все отдельные ассоциации в один большой союз.

Такая организация, как Маркс справедливо заметил в «Германской войне», с необходимостью вела к коммунизму, к прямой противоположности прудонизма. Вот почему Коммуна была могилой прудоновской социалистической школы. Эта школа теперь не имеет приверженцев во французских рабочих кружках: здесь повлостанно царит теория Маркса, как между «поссибилистами», так и между «марксистами». Прудонисты попадаются еще только между «радикальными» буржуа.

Нечто подобное произошло и с бланкистами. Воспитанные в школе заговорщичества и привыкшие к строгой дисциплине заговора, они думали, что сравнительно небольшое число смелых, хорошо организованных людей может, при благоприятно сложившихся обстоятельствах, захватить власть и удерживать ее в своих руках, при помощи самых энергичных и решительных мер, до тех пор, пока не удастся привлечь народ на сторону революции и сгруппировать его вокруг небольшой кучки вожаков. Чтобы такое дело удалось, нужна была раньше всего диктаторская централизация всей власти в руках нового революционного правительства. Что же сделала Коммуна, в которой большинство состояло из бланкистов? Она выпустила воззвания к провинциям Франции, в которых она приглашала все Коммуны свободно соединиться с Парижем в одну национальную организацию, организацию впервые созданную действительно самой нацией. Постоянная армия, политическая полиция, чиновничество—вся эта гнетущая сила старого централизованного правительства, созданная Наполеоном в 1798 году и, как удобное орудие, охотно направляемая к тем пор каждым новым правительством против его врагов, должна была всюду пасть, как она пала в Париже.

Коммуна должна была с самого начала признать, что рабочий класс, достигнув власти, не может пользоваться для своих целей старой государственной машиной; что если этот класс не хочет потерять только-что завоеванное господство, он должен, во-первых, устранить весь старый, направлявшийся до тех пор против него самого, механизм угнетения, с другой—обезопасить себя со стороны своих собственных служащих и уполномоченных—обезопасить тем, чтобы их можно было в любое время и всех без исключения смещать. В чем состояла до сих пор характерная особенность государства? Простым разделением труда общество создало себе особые органы для защиты своих интересов. Но со временем эти органы и первый среди них—государственная власть—служба своим частным интере-

сам, стали из слуг общества его повелителями. Такое явление происходит не только в наследственных монархиях, но и в демократических республиках. «Политики» нигде в мире не пользуются таким влиянием и нигде настолько не обособлены от прочего населения, как в Северной Америке. Там каждая из двух больших партий, сменяющих друг друга у кормила правления, управляется, в свою очередь, людьми, которые из политики сделали себе гешефт; они спекулируют на места в законодательных собраниях союза или отдельных штатов или живут агитацией в пользу своей партии и вознаграждаются какой-нибудь должностью после ее победы. Известно сколько усилий в течение последних тридцати лет затратили американцы, чтобы свергнуть это, ставшее невыносимым, иго, и как, несмотря на это, они все более погружались в болото продажности. Именно в Америке лучше всего видно, как государственная власть становится независимой от того самого общества, орудием которого она в сущности является. Там нет ни династий, ни постоянного войска, исключая кучки солдат, наблюдающих за индейцами, нет бюрократии с обеспеченными местами и пенсиями. И все же там мы видим, как две больших шайки политических спекулянтов, попеременно владеют государственной властью и эксплуатируют ее самым грязным образом для самых грязных целей, — а нация стоит бессильной перед этими двумя большими союзами политиков, которые, якобы, находятся у нее на службе, а в действительности грабят ее и господствуют над ней.

Против этого превращения государственных органов из слуг общества в его повелителей, неизбежно происходившего во всех существовавших до сих пор государствах, Коммуна приняла две самые надежные меры. Первая: все должности — учительские, судебные административные, замещались посредством выборов, при чем, выбирали все те, которые были заинтересованы в исполнении данных обязанностей; они же имели право в любое время сместить своих ставленников. Вторая: все служащие в Коммуне, и низшие и высшие, получали жалованье, не превышавшее заработной платы рабочего. Высший размер жалованья не превышал 6000 фр. Таким путем был положен конец карьеризму и погоне за местами, даже без помощи императивных мандатов, которыми представители народа снабжались от своих избирателей, и которые, в сущности, были лишни.

В третьем отделе «Гражданской Войны» подробно описывается это уничтожение старой государственной власти и замена ее новою, истинно демократическою. Но мы считали необходимым еще раз подчеркнуть здесь некоторые черты этого процесса, потому что именно в Германии суеверная вера в государство перешла из философии в число привычных идей буржуазии и даже многих рабочих. Германская философия представляет себе государство, как «осуществление идей» или как переведенное на философский язык «царство божие на земле», как область, в которой осуществляется или должна осуществляться вечная истина и справедливость. От этого происходит суеверное почтение к государству и ко всему, более или (менее, связанному с государством; это почтение тем более сильно, что люди уже с колыбели, проникаются убеждением, что невозможно вести общественные дела и отстаивать интересы всего общества иначе, чем это делалось до сих пор, т.-е. при помощи государства и его хорошо оплачиваемых чиновников.

Нередко считают необыкновенно смелым шагом отказ от веры в наследственную монархию и принятие в свою программу демократической республики. В действительности же государство есть не что иное, как орудие угнетения одного класса другим; это относится к демократической республике не менее, чем к монархии. В лучшем случае, государство есть зло, которое пролетариат, одержавший победу в борьбе за классовое господство, получит себе в наследство. Пролетариату неизбежно придется так же, как и Парижской Коммуне, немедленно урезать, насколько только возможно, худшие стороны этого зла, пока новое поколение, выросшее в новом, свободном общественном строе, окажется в силах отделаться от всего этого хлама каких бы то ни было государственных учреждений.

В последнее время немецкий филистер опять начинает испытывать спасительный ужас при словах: *диктатура пролетариата*. Хотите ли знать, милостивые государи, что такое эта диктатура? Посмотрите на Парижскую Коммуну. Это была диктатура пролетариата.

Ф. Энгельс.

ЛОНДОН,

в день двадцатой годовщины Париж-
ской Коммуны 18 марта 1891 года.

Членам Международного товарищества рабочих в Европе и Соединенных Штатах.

I.

Первое воззвание Генерального Совета по поводу франко-германской войны.

В воззвании нашей ассоциации от ноября 1864 года мы говорили: «Если освобождение рабочего класса предполагает братское единение в его рядах и тесную совместную работу,—то как может рабочий класс выполнить эту великую миссию, пока внешняя политика, преследуя преступные цели, раздувает национальные предрассудки и в грабительских войнах проливает кровь народа и расточает его имущество?» И мы характеризовали внешнюю политику, которой добивается Интернационал, в следующих словах: «Те же законы нравственности и справедливости, которые должны регулировать отношения между частными людьми, должны стать высшими законами, регулируемыми и международные отношения».

Неудивительно, что Луи Бонапарт, который свою власть узурпировал посредством эксплуатации классовой борьбы во Франции и продлил посредством ряда внешних войн,—с самого начала относился к Интернационалу, как к самому опасному врагу. Накануне плебисцита он устраивает поход против членов распорядительных комиссий Международной Рабочей Ассоциации в Париже, Лионе, Руане, Марсели, Бресте, словом, во всей Франции, под тем предлогом, что Интернационал является тайным обществом и готовит заговор с целью убить его; нелепость этой выдумки была вскоре раскрыта его собственными судьями. В чем же состояло действительное преступление французских секций Интернационала? В том, что они открыто говорили французскому народу: голосовать за плебисцит значит голосовать за внутренний деспотизм и за внешнюю войну. И действительно,

делом их рук было то, что во всех больших городах, во всех промышленных центрах Франции рабочий класс, как один человек, встал против плебисцита. К несчастью, голоса рабочих были подавлены, в виду глубокого невежества сельских округов. Биржи, кабинеты держав, господствующие классы и почти вся европейская пресса торжествовали победу плебисцита, как блестящую победу французского императора над французским рабочим классом; в действительности плебисцит был сигналом к умерщвлению не одной личности, а целых народов.

Военный договор в июле 1870 года есть только улучшенная вариация государственного переворота в декабре 1851 года. На первый взгляд дело казалось столь нелепым, что Франция не хотела верить в серьезность слухов о войне. Гораздо охотнее верили тем депутатам, которые в воинственных речах министров видели простую биржевую уловку. Когда 15 июля о войне, наконец, официально было заявлено законодательному корпусу, — вся оппозиция отказалась утвердить предварительные расходы; сам Тьер заклеивал войну, как нечто «гнусное»: все независимые парижские газеты осуждали ее, и, к удивлению, провинциальная печать почти целиком с ними соглашалась.

Между тем, парижские члены Интернационала вновь взялись за работу. В «Reveil» они 12-го июля опубликовали манифест «к рабочим всех наций», в котором сказано:

«Опять политическое честолюбие, под предлогом защиты национальной части и европейского равновесия, грозит всеобщему миру. Французские, немецкие и испанские рабочие! Соединим свои голоса в один общий крик возмущения против войны... Война, вызванная желанием превосходства или война в интересах какой-нибудь династии не может в глазах рабочих быть чем-нибудь иным, кроме преступного безумия. Мы, которые нуждаемся в мире и работе, мы громко протестуем против воинственных кличей тех, кто может откупиться от «налога кровью» (т.е. от воинской повинности), и для кого мировое несчастье служит источником новых спекуляций!.. Немецкие братья наши! Вражда между нами, французскими и немецкими рабочими, имела бы только последствием полное торжество деспотизма по обеим сторонам Рейна... Рабочие всех стран! Каковы бы ни были в данный момент результаты наших общих усилий, — мы, члены Международного Товарищества рабочих, для которых не существует никаких государственных границ, мы шлем вам, как

залог неразрывной солидарности, добрые пожелания и привет от рабочих Франции».

За этим манифестом наших парижских секций последовало множество французских воззваний, из которых мы здесь можем привести только одно, принадлежащее секции в Neuilly-sur-Seine и опубликованное в газете «Марсельеза» от 22-го июля: «Справедлива ли эта война? Нет! Национальна ли эта война? Нет. Это—война исключительно династическая. Во имя справедливости, во имя демократии, во имя истинных интересов Франции,—мы всецело и со всей энергией присоединяемся к протестам Интернационала против войны».

Эти протесты выражали истинные чувства французских рабочих, как вскоре и показало ясно одно интересное происшествие. Когда шайка демонстрантов десятого декабря, первоначально организованная во время президентства Луи Бонапарта, переодетая в рабочие блузы, вышла на улицу, чтобы посредством индийских военных плясок разжечь военную лихорадку,—действительные рабочие предместий ответили такими внушительными демонстрациями в пользу мира, что полицейский префект Пиетри счел нужным внезапно положить конец всяким дальнейшим уличным демонстрациям, под тем предлогом, что преданный французский народ уже достаточно проявил свой необычайный патриотизм и дал исход своему неизсякаемому военному энтузиазму.

Чем бы не кончилась война Луи Бонапарта с Пруссией—похоронный звон по второй Империи уже прозвучал в Париже. Вторая Империя кончится тем же, чем началась: жалкой пародией. Но не надо забывать, что именно европейские правительства и господствующие классы дали возможность Луи Бонапарту в течение восемнадцати лет разыгрывать жестокий фарс реставрации второй Империи.

Для немцев война эта является оборонительной. Но кто привел Германию в положение необходимости обороняться? Кто дал возможность Луи Бонапарту вести войну против Германии? Пруссия! Не кто иной, как Бисмарк, конспирировал с Луи Бонапартом, в надежде подавить внутри Пруссии демократическую оппозицию и закрепить Германию за династией Гогенцоллернов. Если бы битва при Садове была не выиграна, а потеряна, французские батальоны наводнили бы Германию в качестве союзников Пруссии. Разве Пруссия после победы хоть на минуту подумала о том, чтобы поработенной Франции противопоставить свободную Германию? Как раз наоборот! Она рев-

ниво оберегала исконные прелести своей старой системы и в добавление к ним позаимствовала у второй Империи все ее уловки: ее фактический деспотизм и призрачную демократичность, ее политические фокусы и финансовые мошенничества, ее высокопарные фразы и самое низкое жульничество. Бонапартистский режим, который до сих пор процветал только на одном берегу Рейна, нашел себе, таким образом, двойника на другом берегу его. А при таком положении дел чего иного можно было ждать, кроме войны?

Если немецкий рабочий класс допустит, чтобы война потеряла свой оборонительный характер и выродилась в войну против французского народа, — тогда и победа и поражение будут одинаково гибельны. Все те несчастья, которые постигли Германию после так называемых освободительных войн, обрушатся на нее снова с еще большей жестокостью.

Принципы Интернационала, однако, слишком широко распространились и слишком глубокие корни пустили среди немецкого рабочего класса, чтобы мы должны были опасаться столь печального исхода. Голос французских рабочих нашел себе отклик в Германии. Громадное рабочее собрание в Брауншвейге 16-го июля объявило себя вполне солидарным с парижским манифестом, решительно отвергло всякую мысль о национальной вражде к Франции и приняло резолюцию, в которой сказано: «Мы — враги всяких войн, но прежде всего — войн династических... С глубокой печалью и болью мы видим себя вынужденными принять участие в оборонительной войне, как в неизбежном зле; но в то же время мы призываем весь мыслящий класс сделать невозможным повторение столь ужасного социального несчастья, добиваясь при этом власти для народов самим решать вопрос о войне и мире и делая, таким образом, народы господами своей собственной судьбы».

В Хемнице собрание уполномоченных, представлявших пятьдесят тысяч саксонских рабочих, единогласно приняло следующую резолюцию: «От имени немецкой демократии вообще и в частности от имени рабочих социал-демократической партии, мы объявляем нынешнюю войну исключительно династической... С радостью пожинаем мы братскую руку, протянутую нам французскими рабочими... Памятуя лозунг Международного Товарищества Рабочих: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», мы никогда не забудем, что рабочие всех стран — наши друзья, а деспоты всех стран — наши враги».

Берлинская секция Интернационала также ответила на парижский манифест. «Мы всей душою присоединяемся к вашему протесту... Мы даем великий обет в том, что ни звуки труб, ни громы пушек, ни победа, ни поражение не отвратят нас от нашего общего дела—объединения рабочих всех стран».

На заднем плане этой братоубийственной борьбы виднеется злобная фигура России. Плохим признаком является то, что сигнал к нынешней войне был дан как раз в тот момент, когда русское правительство закончило постройку важных для него в стратегическом отношении железных дорог и уже сконцентрировало войска в направлении к Пруту. Хотя немцы и могут с полным правом рассчитывать на симпатии в своей оборонительной войне против бонапартистского нападения,—они потеряют эти симпатии сейчас же, как только допустят, чтобы немецкое правительство призвало на помощь или хотя бы только приняло помощь казаков. Пусть они припомнят, что Германия, после войны ее за независимость против Наполеона первого, целые десятилетия беспомощно лежала у ног царя.

Английский рабочий класс братски протягивает руку французским рабочим так же, как и немецким. Он убежден, что как бы ни кончилась предстоящая отвратительная война, союз рабочих всех стран в конце-концов искоренит всякие войны. В то время, как официальная Франция и официальная Германия бросаются в братоубийственную борьбу друг с другом,—рабочие посылают друг другу вести мира и дружбы. Уже один этот великий факт, не имеющий равного в истории, открывает надежды на более светлое будущее. Он показывает, что в противоположность старому обществу с его экономической нищетой и политическим безумием, нарождается новое общество, международный принцип которого будет—мир; ибо у каждого из народов будет господствовать один и тот же принцип—принцип труда!

Провозвестником этого нового общества является международное Товарищество Рабочих.

Лондон, 23-го июля 1870 г.

II.

Второе воззвание генерального Совета по поводу франко-германской войны.

В нашем первом манифесте от 23-го июля мы сказали: «Похоронный звон по второй Империи уже прозвучал в Париже. Вторая Империя кончится так же, как началась: жалкой пародией. Но мы не должны забывать, что именно европейские правительства и господствующие классы дали Луи Бонапарту возможность в течение целых восемнадцати лет разыгрывать жестокий фарс реставрации второй Империи».

Таким образом, еще раньше, чем начались военные операции, мы уже смотрели на бонапартистский мыльный пузырь, как на дело прошлого.

Мы не заблуждались насчет жизнеспособности второй Империи. Мы не были также неправы в своем опасении, что для Германии «война потеряет свой чисто оборонительный характер и выродится в войну против французского народа». Оборонительная война действительно кончилась сдачей Луи Наполеона, капитуляцией Седана и провозглашением республики в Париже. Но еще гораздо раньше этих событий, уже в тот самый момент, когда гнилость бонапартовского милитаризма выплыла наружу, прусская военная камарилья решилась превратить войну в завоевательную. Правда, собственная прокламация короля Вильгельма в начале войны была весьма неприятным препятствием для этих господ. В своей тронной речи к северо-германскому рейхстагу Вильгельм торжественно заявил, что он ведет войну только против французского императора, а не против французского народа. 11-го августа он выпустил манифест к французской нации, в котором он говорил: «Император Наполеон произвел на море и на суше нападение на немецкую нацию, которая хотела и теперь еще хочет жить в мире с французским народом; я взял на себя командование армией, чтобы отразить его нападение, и ход военных событий привел меня к тому, чтобы перейти границы Франции». Не довольствуясь заявлением, что он взял на себя командование армией «чтобы отразить нападение», Вильгельм, чтобы еще больше подтвердить «чисто оборонительный характер войны» присовокупил еще, что только «ход военных событий привел его к тому»,

чтобы перейти границы Франции. Оборонительная война, конечно, вовсе не исключает наступательных операций, продиктованных «ходом военных событий».

Таким образом, этот благочестивый король торжественно обещал пред Францией и пред лицом всего мира вести чисто оборонительную войну. Как же освободить его от этого торжественного обещания? Режиссеры всей этой комедии должны были представить дело так, как-будто он против своей воли уступает неотступным требованиям немецкого народа; для этого они сейчас же дали паролъ немецкому либеральному среднему классу, с его профессорами и капиталистами, с его депутатами и газетчиками. Этот средний класс, который во время борьбы за буржуазную свободу 1846—1870 гг. выказал невиданную трусость, нерешительность и неспособность, был, конечно, чрезвычайно восхищен той ролью льва немецкого патриотизма, в которой он должен был выступить на европейской сцене. Он надел на себя маску гражданской независимости, чтобы прикинуться, будто он принуждает прусское правительство... выполнить тайные планы этого самого правительства. Он раскаивался в своей долголетней и почти религиозной вере в непогрешимость Луи Бонапарта и поэтому громко требовал раздробления французской республики. Остановимся хоть на минутку на благовидных доводах, пущенных в ход этими рыцарями «патриотизма».

Они не осмеливаются утверждать, что население Эльзас-Лотарингии тоскует по немецким объятиям. Как раз наоборот. Чтобы наказать Страсбург за чувства патриотизма к Франции, его бесполезно и варварски—ибо в военном отношении важен не город, а самостоятельное расположенная цитадель, крепость—бомбардируют «немецкими» взрывчатыми снарядами, зажигают город и убивают массу беззащитных жителей. Еще бы! Земля под этими провинциями некогда принадлежала давным-давно почившей немецкой империи. Не пришлось ли бы на таком основании конфисковать, как не потерявшую давности немецкую собственность, весь земной шар с его населением? Ведь если восстанавливать старую карту Европы, согласно историческому праву,—то не следует ни в коем случае забывать, что в свое время курфюрст Бранденбургский состоял в качестве прусского владетельного князя вассалом польской республики.

Но изворотливые патриоты требуют Эльзаса и немецкой Лотарингии, как «материальной гарантии» против французских нападе-

ний. Так как эта гнусная уловка посеяла смуту в головах многих слабоумных людей, мы считаем своей обязанностью подробнее остановиться на ней.

Нет сомнения, что общее расположение Эльзаса и противоположного рейнского берега вместе с наличием, как раз почти на половине дороги между Базелем и Гермерсгеймом, такой большой крепости, как Страсбург,—очень облегчает Франции вторжение в южную Германию, между тем, как южной Германии, напротив, известным образом, благодаря этому, затрудняется вторжение во Францию. Нет, далее, сомнения и в том, что присоединение Эльзаса и немецкой Лотарингии сильно укрепило бы границы южной Германии; она могла бы тогда распоряжаться по хребту Вогезских гор во всей их длине и завладеть крепостями, прикрывающими северные их проходы. Если бы был присоединен также и Мец, то, Франция сейчас, несомненно, была бы лишена двух важнейших операционных баз против Германии, но это не мешало бы ей создать новые при Нанси или Вердоне. Германия имеет Кобленц, Майнц, Гермерсгейм, Рапштадт и Ульм—все операционные базы, направленные специально против Франции; Германия прекрасно воспользовалась ими в последней войне; с какой же тенью права может она завидовать Франции, имеющей в этой области только две значительные крепости—Мец и Страсбург?

Кроме того, Страсбург угрожает южной Германии только до тех пор, пока она разъединена с северной Германией. С 1792 до 1795 года южная Германия ни разу не подвергалась нападению с этой стороны, потому что Пруссия принимала участие в войне против французской революции; но как только Пруссия в 1795 году заключила свой сепаратный мир и предоставила юг самому себе, на южную Германию начались нападения и продолжались до 1809 года, при чем, Страсбург служил операционным базисом. В сущности, объединенная Германия может обезвредить Страсбург и всякую французскую армию в Эльзасе, если она сконцентрирует все свои войска между Саарлуи и Ландау; как это было в настоящей войне, и двинет их вперед или примет битву по пути из Майнца в Мец. До тех пор, пока главная масса немецких войск находится там, всякой армии, вступающей из Страсбурга в южную Германию, грозит опасность быть обойденной и отрезанной от базы. Если последняя кампания что-нибудь доказала, то именно легкость нападения на Францию из Германии.

Но, рассуждая честно, разве не является вообще нелепостью и

анахронизмом возводить военные соображения в принцип, согласно которому должны определяться национальные границы? Если следовать этому правилу, то ведь Австрия еще могла бы предъявить претензию на Венецию и Минчиолину (Minciolinie), а Франция—на рейнскую линию, для защиты Парижа, который, безусловно, больше подвержен опасности нападений с северо-востока, чем Берлин—с юго-запада. Если бы национальные границы определялись военными интересами, то претензиям не было бы конца, ибо всякая военная линия по необходимости имеет свои недостатки и может быть улучшена посредством присоединения новых областей; а сверх того, эти границы никогда не могли бы быть окончательно и справедливо установлены, ибо каждый раз победитель диктовал бы условия побежденному, и тут, следовательно, был бы уже зародыш новой войны.

С целыми нациями бывает то же самое, что с отдельными людьми—этому нас учит вся история. Чтобы отнять у них возможность нападения, нужно лишить их всех средств обороны. Нужно не только схватить их за горло, но и умертвить их. Если когда-нибудь какой-нибудь победитель добивался «материальных гарантий», чтобы сломить силу неприятеля,—то это сделал Наполеон I своим тильзитским договором и тем, как он применял его по отношению к Пруссии и к остальной Германии. И все-таки, спустя несколько лет, все его гигантское могущество рассеялось перед немецким народом, как дым. Но могут ли сравниться «материальные гарантии», которых Германия в самых диких мечтах своих надеется добиться от Франции, с теми, которые заполучил Наполеон I от самой Германии? Результаты и на этот раз будут не менее гибельны. История воздаст не по числу оторванных от Франции квадратных миль земли, а по величине преступления, состоящего в том, что во 2-й половине XIX-го столетия вновь вызвали к жизни политику завоеваний.

Защитники немецкого патриотизма говорят нам: но вы не должны смешивать немцев с французами. Мы хотим не славы, а только спокойствия. Немцы—во существу миролюбивый народ. В своей рассудительной защите они даже превращают завоевания из причины будущей войны в залог вечного мира. Должно быть, не Германия двинула в 1792 году свои войска во Францию, с возвышенною целью раздавить революцию XVIII столетия при помощи штыков! Должно быть, не Германия замазала свои руки при порабощении Италии, при подавлении Венгрии и при разделе Польши! Ее нынешняя милита-

ристская система, благодаря которой, все здоровое мужское население делится на две части—постоянную армию на службе и вторую постоянную армию в запасе—при чем, обе обречены на беспрекословное подчинение своему, божьей милостью, начальству—эта система является, конечно, «материальной гарантией» всеобщего мира и, кроме того, высшей целью цивилизации! В Германии, как и везде, правительственные прихвостни отравляют общественное мнение фимиамом и лживым самохвалством.

Их, этих немецких патриотов, очень раздражают французские крепости Мец и Страсбург, но они не видят ничего несправедливого в колоссальной системе русских укреплений: Варшавы, Модлина и Ивангорода. Содрогаясь пред ужасами бонапартистских нападений, они закрывают глаза на весь позор царского покровительства.

Точно так же, как в 1865 году Бисмарк с Луи Бонапартом обменялись обещаниями, в 1870 году это произошло между Бисмарком и Горчаковым. Точно так же, как Луи Наполеон льстил себя надеждой, что война 1866 года, истощив силы обеих сторон Австрии и Пруссии,—сделает его вершителем судеб Германии,—Александр льстил себя надеждой, что война 1870 года, истощив силы Германии и Франции, даст ему возможность стать вершителем судеб всей Западной Европы. Точно так же, как вторая Империя считала невозможным свое существование рядом с существованием северо-германского союза,—самодержавная Россия должна чувствовать для себя опасность со стороны германского государства с Пруссией во главе. Это закон старой политической системы. В пределах этой системы выигрыш одного является проигрышем для другого. Преобладающее влияние царя на Европу коренится в его традиционном верховенстве над Германией. В тот момент, когда вулканические социальные силы грозят в самой России потрясти самые глубокие основы самодержавия, может ли царь допустить ослабление своего внешнего могущества? Московские газеты заговорили уже тем же языком, которым говорили бонапартистские газеты после войны 1866 года. Неужели германофилы думают, что свобода и мир для Германии будут обеспечены, если она принудит Францию броситься в объятия России? Если военное счастье, опьянение своими успехами и династические интриги толкнут Германию на путь грабительского присвоения французских областей,—для нее останутся только два пути. Либо она должна, во что бы то ни стало, сделаться явным рабом русской ва-

воевательной политики, либо она должна, после короткой передышки, начать готовиться к «оборонительной войне, не к одной из тех так-называемых «локализованных» войн, а к войне расовой, к войне против объединенных славянских и романских рас.

Немецкий рабочий класс, не имея возможности помешать этой войне, поддерживал ее энергично, как войну за независимость Германии, за освобождение ее и всей Европы от гнетущего ига второй империи. Немецкие промышленные рабочие вместе с рабочими сельскими составляли ядро героических войск, тогда как дома оставались их полуголодные семьи. Кроме бедствий на поле брани за границей, их ожидают не менее великие бедствия дома, от нищеты. И они теперь, в свою очередь, требуют «гарантий», гарантий в том, что их неисчислимые жертвы были не напрасны, что они действительно добились свободы, что их победы над армиями Бонапарта не будут превращены, как в 1815 году, в поражение немецкого народа. И в качестве первой такой гарантии они требуют «почетного для Франции мира» и «признания французской республики».

Центральный комитет немецкой социал-демократической рабочей партии опубликовал 5-го октября манифест, в котором он энергично настаивает на этих гарантиях. «Мы» говорил он, «протестуем против присоединения Эльзас-Лотарингии. И мы сознаем, что говорим от имени немецкого рабочего класса. В общих интересах Франции и Германии, в интересах мира и свободы, в интересах западно-европейской цивилизации, в интересах борьбы с восточным варварством, немецкие рабочие не потерпят молча присоединения Эльзас-Лотарингии... Мы будем стоять верно вместе с нашими товарищами, рабочими других стран, за общее международное дело пролетариата»!

К несчастью, мы не можем рассчитывать на их непосредственный успех. Если французские рабочие не могли остановить нападающей стороны в мирное время, то больше ли шансов у немецких рабочих удерживать победителя во время военной горячки? Манифест немецких рабочих требует выдачи Луи Бонапарта, как обыкновенного преступника, в руки французской республики. А их эксплуататоры всеми силами стараются опять посадить его на тюильрийский престол, как самого подходящего человека для того, чтобы привести Францию к гибели. Как бы там ни было, история покажет, что немецкие

рабочие созданы не из такого дряблого материала, как немецкий средний класс. Они исполнят свой долг.

Вместе с ними мы приветствуем учреждение республики во Франции, но в то же время нас тревожат опасения, которые, будем надеяться, окажутся неосновательными. Эта республика не ниспровергла трона, она только заняла оставленное им пустое место. Она провозглашена не как социальное приобретение, а как национальная мера обороны. Она находится в руках временного правительства, состоящего частью из заведомых орлеанистов, частью из буржуазных республиканцев; а на некоторых из этих последних июньское восстание 1848 года оставило несмываемое пятно. Разделение труда между членами этого правительства обещает очень мало хорошего. Орлеанисты заняли сильнейшие позиции — армию и полицию, между тем, как мнимым республиканцам предоставили функцию болтовни. Некоторые из первых шагов этого правительства довольно ясно показывают, что оно унаследовало от Империи не только груды развалин, но и страх перед рабочим классом. Если теперь во имя республики они широковещательно обещают невозможные вещи, — то не делается ли это для того, чтобы вызвать течение в пользу «возможного» правительства? Не является ли республика в глазах буржуа, которые охотно стали бы ее могильщиками, лишь переходной ступенью к орлеанистской реставрации?

Таким образом, французский рабочий класс находится в самом затруднительном положении. Всякая попытка ниспровергнуть новое правительство, тогда как неприятель уже почти стучится в ворота Парижа, была бы безумием отчаяния. Французские рабочие должны исполнить свой долг граждан, но они не должны позволить себя увлечь национальными традициями 1792 г., как французские крестьяне дали обмануть себя национальными преданиями первой Империи. Им нужно не повторять прошлое, а построить будущее. Пусть они спокойно и решительно пользуются всеми средствами, которые дает им республиканская свобода, чтобы основательнее укрепить организацию своего собственного класса. Это даст им новые геркулесовы силы для борьбы за возрождение Франции и за наше общее дело освобождения пролетариата. От их силы и мудрости зависит судьба республики.

Английские рабочие сделали уже некоторые шаги в том направлении, чтобы посредством полезного давления извне сломить не-

охоту их правительства признать Французскую республику. Теперешней медленностью английское правительство хочет должно-быть загладить антиякобинскую войну 1792 года и ту непристойную поспешность, с которой оно признает государственный переворот Наполеона. Английские рабочие, кроме того, требуют от своего правительства, чтобы оно всеми силами противилось раздроблению Франции, которого требует бесстыдно часть английской прессы. Это та самая пресса, которая в течение целых двадцати лет боготворит Луи Бонапарта, как провидение Европы, и которая восторженно аплодировала мятежу американских рабовладельцев. Теперь, как и тогда, она трудится на пользу рабовладельцев.

Пусть же секции Международного Товарищества Рабочих призовут рабочий класс во всех странах к деятельному выступлению. Если рабочие забудут свой долг, если они останутся пассивными, — настоящая ужасная война станет предтечей новых еще более ужасных международных войн и приведет в каждой стране к новым победам над рабочими рыцарей шпаги, капитала и землевладения.

Лондон, 9 сентября 1870 года.

ВОЗЗВАНИЕ

Генерального Совета Международного Общества Рабочих

по поводу гражданской войны во Франции 1871 года.

I.

4-го сентября 1870 г., когда парижские рабочие провозгласили республику, которую единодушно почти тотчас приветствовала вся Франция кликом восторга, шайка честолюбивых адвокатов завладела городскою ратушею; государственным деятелем ее был Тьер, а генералом — Трошю. Эти люди были настолько полны тогда фашистической веры в призвание Парижа быть представителем всей Франции во все времена исторических кризисов, что для оправдания насильно захваченного ими титула правителей Франции они нашли достаточным предъявить свои истекшие уже полномочия на звание парижских депутатов. Во втором нашем воззвании по поводу франко-прусской войны, через пять дней после того, как этих людей подняло наверх движение, мы объяснили вам, кто они такие. Но Париж захваченный врасплох, когда действительные вожди рабочих еще сидели в тюрьмах Бонапарта, а пруссаки быстро шли на него, позволил этим людям присвоить себе власть, но с неперменным условием, чтобы они пользовались этою властью исключительно для дела народной защиты. Защитить Париж можно было, только вооружив его рабочих, образовав из них действительную военную силу, научив их военному искусству на самой войне. Но вооружить Париж значило вооружить революцию. Победа Парижа над прусским завоевателем была бы победой французского рабочего над французским капиталистом и его государственными паразитами. Вынужденное выбирать между национальным долгом и классовыми интересами, правительство на-

циопальной обороны не колебалось ни минуты—оно превратилось в правительство народной измены

Прежде всего оно отправило Тьера в странствование по европейским дверам выпрашивать у них, как милостыни, посредничества, обязываясь за то променять республику на короля. Четыре месяца спустя после обложения Парижа оно сочло своевременным завести речь о капитуляции; Трошю в присутствии Жюль Фавра и других членов правительства обратился к парижским мэрам со следующими словами:

«Первый вопрос, который задали мне мои сотоварищи вечером же 4-го сентября, был вопрос о том, имеет ли Париж какие-нибудь шансы успешно выдержать осаду прусской армий? Я, не колеблясь, ответил на этот вопрос *отрицательно*. Ссылаюсь на некоторых из присутствующих здесь товарищей; они могут вам подтвердить, что я говорю правду; я постоянно оставался при мнении, высказанном тогда мною. Я сказал им точно то же, что говорю теперь вам: при настоящем положении дел, попытка отстоять Париж от пруссаков—чистое безумие,—конечно, геройское безумие,—прибавил я, но все-таки не больше, как безумие... События (он сам ими управлял) оправдали мои предсказания».

Эту прелестную маленькую речь Трошю один из присутствовавших мэров, Корбон, впоследствии напечатал.

Итак, уже вечером, в день провозглашения республики товарищи Трошю знали, что «план» его состоит в капитуляции Парижа. Если бы народная оборона не была только предлогом для господства Тьера, Фавра и К^о, выскочки 4-го сентября сложили бы уже 5-го свою власть, сообщили бы парижскому населению «план» Трошю и предложили бы ему или немедленно сдаться, или взять свою судьбу в собственные руки. Но эти бесчестные обманщики предпочли излечить Париж «от геройского безумия» голодом и кровью, а пока что водили его за нос своими прокламациями. «Трошю, губернатор Парижа, никогда не капитулирует!» писалось в одной из этих прокламаций. «Министр иностранных дел, Жюль Фавр, никогда не уступит ни одной пяди земли, ни одного камня наших крепостей». А Гамбетте этот же Жюль Фавр признавался в письме, что они «защищаются» не от прусских солдат, а от *парижских рабочих*. Бонапартистские разбойники, которым предусмотрительный Тьер отдал начальство над парижской армией, нагло глумились в своей частной

переписке во все продолжение осады над этой, якобы, обороной, тайну, которой они знали. За доказательствами не далеко ходить: достаточно просмотреть оглашенную Коммуной переписку главнокомандующего над парижской артиллерией, кавалера ордена Почетного Легиона, Альфонса Симона Гю с Сюзанном, артиллерийским дивизионным генералом. Наконец, 28 января 1871 года, они сбросили маску. Правительство народной обороны в деле капитуляции Парижа выступило с настоящим героизмом глубочайшего унижения, оно выступило, как *правительство Франции, состоящее из пленников Бисмарка*, — роль до того подлая, что ее не решился взять на себя даже сам Луи Наполеон в Седане. Спасаясь бегством в Версаль после 18-го марта, «капитуляры» в переполохе забыли захватить с собой документы, свидетельствовавшие об их измене. Чтобы истребить их, писала Коммуна в прокламации к провинциям, «эти люди не остановились бы пред превращением Парижа в развалины, зато-пленные морем крови».

К такой развязке толкали многих из влиятельнейших членов правительства народной обороны и личные соображения.

Вскоре после заключения перемирия парижский депутат национального собрания, Мильер, теперь по специальному приказу Жюль Фавра уже расстрелянный, опубликовал целый ряд подлинных юридических документов, доказывавших, что Жюль Фавр, живя с женою одного алжирского проходимца, захватил себе при помощи подлогов, совершенных им в продолжение нескольких лет сряду от имени своих незаконнорожденных детей, спротивное наследство, которое сделало его богатым человеком, и что в процессе, который вели с ним законные наследники, он только потому не был уличен в подлогах, что пользовался особым покровительством бонапартистских судов. Так как против этих сухих юридических актов было бессильно какое угодно красноречие, то Жюль Фавр нашел нужным, в первый раз в своей жизни, не раскрывать рта, а ожидать, пока возгорится гражданская война, чтобы бешено выругать парижских жителей беглыми каторжниками, нагло воставшими против семьи, религий, порядка и собственности. В то же время этот подделыватель документов: тотчас после 4-го сентября, едва захватив власть, освободил из чувства братства Пика и Тальефера, которые были осуждены за подлог даже при Империи (при скандальной истории с газетой «L'Etendard»). Один из этих досточтимых господ. Тальефер, был на-

столько дерзок, что вернулся во время Коммуны в Париж; но Коммуна тотчас же заключила его в тюрьму. И после этого Жюль Фавр объявил всему миру с трибуны национального собрания, что парижане освободили всех каторжников!

Эрнест Пикар—Карл Фогг правительства народной обороны—который после неудачных попыток попасть в министры внутренних дел империи, произвел сам себя в министры внутренних дел республики, это—брат некоего Артура Пикара, выгнанного из Парижской биржи за мошенничество (см. донесение парижской префектуры от 13 июля 1867 г.) и уличенного, на основании собственного признания, в краже 300.000 франков, совершенной им в бытность его директором филиального отделения торгового общества «Société Générale», rue Palestro № 5 (донесение парижской префектуры от 11 декабря 1868 г.). И вот этого-то Артура Пикара Эрнест Пикар назначил редактором своей газеты «L'Electeur libre». Официальная ложь этой министерской газеты вводила в заблуждение обыкновенных биржевых спекулянтов, а Артур Пикар беспрестанно бегал с биржи в министерство, из министерства на биржу и наживал себе барыши при всяком поражении французских армий. Вся деловая переписка этих славных братьев досталась Коммуне.

Жюль Ферри, бывший до 4-го сентября нищим адвокатом, нажил себе во время осады, как мэр Парижа, состояние на счет голода столицы. Тот день, когда он должен будет дать отчет в своем управлении, будет днем его осуждения.

Такие люди могли получить tickets-of-leave ¹⁾ только на развалинах Парижа; они как раз годились для целей Бисмарка. Карты были немного перетасованы, и Тьер, втайне до сих пор руководивший правительством, вдруг стал во главе его, а tickets-of-leave-men сделались министрами.

Тьер, этот карлик-чудовище, в течение более чем полувека очаровывал французскую буржуазию, потому что он представлял из себя самое совершенное идейное выражение ее классовой испорченности. Когда он был еще не государственным человеком, а простым историком, он доказал уже свое искусство лжи. История его обще-

*) В Англии преступникам, когда они уже отбыли большую часть наказания, дают иногда отпускные билеты, с которыми они могут жить на свободе, но под надзором полиции. Такие билеты называются tickets-of-leave, а владельцы их—tickets-of-leave-men.

ственной деятельности есть история бедствий Франции. Будучи до 1830 г. другом республиканцев, он получил при Луи Филиппе министерский портфель в награду за измену своему покровителю, Лафитту. К королю он подольстился подстрекательством черни против духовенства,—подстрекательством, которое привело к разграблению церкви С.-Жермен Люксерруа и дворца архиепископа,—и отношениями своими к герцогине Беррийской, которой он служил министром-шпионом и тюремщиком-акушером. Резня республиканцев на улице Транспонэн, последовавшие затем гнусные сентябрьские законы против печати и права сходок—были *его* делом. В 1840 г. он выступил на сцену уже министром-президентом и удивил всю Францию своим проектом укрепления Парижа. На обвинения республиканцев, которые считали этот проект заговором против свободы Парижа, он в палате депутатов отвечал:

«Как? вы находите, что укрепления могут быть опасны свободе? Вы клеветаете, допуская, что какое-нибудь правительство решится когда-нибудь бомбардировать Париж, чтобы удержать власть в своих руках... такое правительство стало бы после победы во сто раз невозможнее, чем до нее». «Да, никакое правительство не решилось бы бомбардировать Париж с фортов, кроме правительства, сдавшего раньше эти форты пруссакам.

Когда в январе 1848 г. король Бомба стал учить повиновению Палермо, Тьер, не бывший уже тогда министром, произнес в палате депутатов такую речь:

«Милостивые государи! Вы знаете, что происходит в Палермо. Вы все содрогаетесь (в парламентском смысле этого слова) от ужаса при вести, что многолюдный город был в течение 48 часов подвергнут бомбардировке. И кем? Чужеземным неприятелем, пользовавшимся правом войны? Нет, милостивые государи, своим же правительством. И за что? За то, что этот несчастный город требовал своих прав. За требование своих прав он подвергся 48-часовой бомбардировке... Я апеллирую к общественному мнению Европы. Я думаю, что заклеить с величайшей из трибун словами (да, действительно, словами) негодования такие действия—это будет заслугой пред человечеством. Когда регент Эспартеро, оказавший услуги своей родине (в чем Тьер уже несколько не виноват), вздумал бомбардировать Барселону для подавления вспыхнувшего там восстания, поднялся со всех концов мира крик негодования».

Чрез полтора года мы находим Тьера уже в числе самых рьяных поборников бомбардировки Рима французской армией. Как кажется, только-то было ошибкой короля Бомба, что он удовольствовался лишь 48-ю часами бомбардировки.

За несколько дней пред февральской революцией Тьер почувствовал в воздухе приближение народной бури. То положение, в котором он оказался, благодаря Гизо, положение человека, лишённого должности и связанных с ней безгрешных доходов, ему надоело. И вот он объявил в палате депутатов своим насыщенным слогом, за который его прозвали «Mirabeau-mouche» (Мирабо—муха): «Я принадлежу к партии революции не только во Франции, но и во всей Европе. Я желал бы, чтобы революционное правительство оставалось в руках умеренных людей.... но если бы оно перешло в руки людей горячих, даже в руки радикалов, я бы из-за этого не отказался от моего дела. Я принадлежу и всегда буду принадлежать к партии революции».

Февральская революция разразилась. Вместо того, чтобы поставить на место министерства Гизо министерство Тьера, о чем мечтал этот ничтожный человек, революция заменила Луи Филиппа республикой. В первый день народной победы он весьма старательно прятался, забывшая, что от ненависти рабочих спасло бы его их презрение к нему. Как испуганный храбрец, он избегал общественной арены, пока июньская резня не очистила места для людей такого сорта, как он. Он стал тогда во главе «партии порядка» с ее парламентской республикой—этими анонимным междоусобицей, во время которой все фракции господствующего класса входили друг с другом в тайные сношения, с целью порабощения народа, и интриговали друг против друга с целью реставрации монархии каждая по своему вкусу. Тьер тогда, как и теперь, обвинял республиканцев, что они—единственная помеха к установлению республики на прочных основаниях; тогда, как и теперь, он говорил республике, как палач дон-Карлосу: «Я убью тебя для твоего же блага». И теперь, как и тогда, он на другой день после победы восклицает: «L'Empire est fait» (Империя готова). Тьер забыв свои лицемерные речи о «необходимых свободах», свою личную ненависть к Луи Бонапарту, который надругался над ним и выпянул за борт парламентаризм,—(вне искусственной атмосферы парламентаризма этот человек превращается в ничто, и он это хорошо знает)—забыв все это, Тьер принимал участие во всех позорных делах

Второй Империи—от занятия Рима французскими войсками до войны с Пруссией; он содействовал этой войне, разжигая страсти своими несправедливыми нападками на единство Германии, в котором он видел не маску для прусского деспотизма, а покушение на наследственное право Франции на разьединенность Германии. На словах этот урод всегда выступал во имя традиций Наполеона I. Наполеоновским мечом махал он пред всей Европой. В своих исторических трудах он только и делал, что чистил сапоги Наполеона. На деле, его внешняя политика всегда, начиная от лондонской конвенции 1841 г. до капитуляции Парижа 1871 г., приводила к полнейшему унижению Франции и, наконец, довела до гражданской войны, во время которой он с высочайшего соизволения Бисмарка патравил на Париж пленных Седана и Меца. Несмотря на свои гибкие способности и изменчивость своих стремлений, он во всю свою жизнь был закоренелым рутинером. Нечего и говорить, что более глубокие движения, происходящие в современном обществе, всегда оставались неспостижимой тайной; его мозг, все силы которого ушли в язык, не мог освоиться даже с самыми простыми изменениями, совершающимися на поверхности общества. Он, например, считал святотатством всякое уклонение от устаревшей французской протекционистской системы. Когда он был министром Луи Филиппа, он насмехался над железными дорогами, как над фантазией больного ума; будучи в оппозиции при Луи Бонапарте, он клеймил, как оскорбление святыни, всякую попытку преобразовать гнилую французскую военную систему.

Ни разу во все продолжение своей долговременной политической деятельности он не провел ни одной, сколько-нибудь практически-полезной меры. Он был верен только своей ненасытной жажде богатства и ненависти к людям, создающим это богатство. Он был беден, как Иов, когда вступил в первый раз в управление министерством при Луи Филиппе, а оставил он это министерство миллионером. Во время последнего его управления министерством при упомянутом короле (с 1 марта 1840 года) он был публично обвинен в палате депутатов в растрате казенных сумм. В ответ на это обвинение он ограничился тем, что заплакал,—ответ дешевый, которым легко отделялся и Жюль Фавр и всякий иной крокодил. В Бордо в 1871 году первого необходимо, в его глазах, мерою к спасению Франции от грозившего ей банкротства было назначение

себе (трехмиллионного годового) оклада; это было первым и последним словом той «бережливой республики», идеал которой он выставил в манифесте к своим парижским избирателям в 1869 году. Один из его собратий по палате 1830 года, сам капиталист,—что, однако, не мешало ему быть преданнейшим членом Парижской Коммуны—Белл, в одной из своих прокламаций говорил недавно Тьеру: «Порабощение труда капиталу было всегда фундаментом вашей политики. С тех пор, как в парижской городской ратуше утвердилась республика труда, вы без устали вопиете Франции: Вот они, преступники!»—Мастер мелких государственных плутней, артист в вероломстве и предательстве, набивший руку в банальных подвояхах низких уловках и гнусном коварстве парламентской борьбы партий; всегда готовый произвести революцию, как только сметит с занимаемого места, и затопить ее в крови, как только захватит власть в свои руки; напичканный классовыми предрассудками вместо идей, вместо сердца наделенный тщеславием, такой же грязный в частной жизни, как и в жизни общественной, он даже и теперь, разыгрывая роль французского Суллы, не может удержаться, чтобы не подчеркнуть мерзости своих деяний своей жалкой величавостью.

Капитуляция Парижа, отдавшая во власть Пруссии не только Париж, но и всю Францию, закончила собою ряд вероломных интриг с врагом, начатых узурпаторами 4-го сентября, по словам самого Трошю, в самый день захвата ими власти. С другой стороны, эта капитуляция была началом гражданской войны, которую они вели против республики и Парижа, будучи обеспечены поддержкой пруссаков. Ловушка была уже в самом тексте капитуляции. Более трети страны было в руках врага; столица была отрезана от провинций, пути сообщения испорчены. При таком состоянии страны приступить к избранию лиц, могущих явиться действительными представителями Франции, возможно было лишь после достаточной подготовки. Именно поэтому в капитуляции и был установлен недельный срок для выборов в Национальное Собрание, так что в некоторых частях Франции известие о предстоящих выборах было получено лишь накануне самих выборов. Далее, как гласит одна из статей этой капитуляции, собрание должно было быть избрано единственно с целью решения вопроса о мире и войне, а в случае необходимости и для заключения мирного договора. Страна должна была почувствовать, что условия перемирия делали далее немислимым ведение войны и что для

заклучения мира, предписанного Бисмарком, худшие люди Франции окажутся самыми пригодными. Но не довольствуясь этими мерами предосторожности и прежде, чем тайна перемирия была сообщена парижанам, Тьер предпринял избирательную поездку по всей стране, чтобы оживить труп партии легитимистов; эта партия вместе с орлеанистами должна была заменить бонапартистов, немыслимых в ту минуту. Бонапартистов он не боялся. Как правительство современной Франции, они были немыслимы, а потому и не были как соперники, опасны; вся деятельность этой партии, по словам самого Тьера, (в палате депутатов 5 января 1833 г.) «постоянно держалась на трех столпах: иноземном вторжении, гражданской войне и анархии»; эта партия поэтому являлась как нельзя более удобным орудием редакции. Но легитимисты всерьез уверовали в наступление их «царства славы». И в самом деле, Франция снова была брошена под ноги иноземным врагам, империя была опять ниспровергнута; Бонапарт опять попал в плен, и они опять воскресли. Очевидно, колесо истории повернуло назад до *Chambre introuvable* 1816 г. В 1848—1851 гг. во время республики их вождями выступали образованные и опытные в парламентской борьбе люди; теперь выступили на первый план заурядные личности партий—всякая сволочь Франции.

По открытии в Бордо этой «помещичьей палаты», этого собрания «деревенщины», Тьер не допустил их даже к парламентским прениям, а просто заявил им, что они немедленно должны принять предварительные условия мира, так как это непременное условие Пруссии, на котором она только и позволит им начать войну против республики и ее оплота—Парижа. И в самом деле, контр-революции некогда было раздумывать. Вторая Империя увеличила государственный долг вдвое, все большие города были обременены тяжелыми местными долгами. Война возвысила пассив до крайних пределов и страшно истощила источники доходов нации. Мало того: прусский Шейлок стоял на французской почве со своими квитанциями на провиант для пятисот-тысячного войска, с требованием уплаты контрибуции в 5 миллиардов и 5 процентов неустойки за просроченные взносы. Кто должен был платить за все это? Только посредством насильственного низвержения республики собственники богатства могли свалить тяжесть ими же вызванной войны на плечи производителей этого богатства. Таким образом, невиданное дотоле разорение Франции побудило этих патриотов—представителей позе-

мельной собственности и капитала—открыто завершить внешнюю войну, под высоким покровительством чужеземного завоевателя и на глазах у него, гражданскою войною, бунтом рабовладельцев.

Успеху их замысла мешало одно громадное препятствие—Париж. Обезоружение Парижа было первым условием успеха. Вследствие этого, Тьер и обратился к Парижу с требованием сложить оружие. Все было сделано, чтобы вывести Париж из терпения: помещичья палата разражалась самыми неистовыми анти-республиканскими воплями; Тьер сам двусмысленно острил над правом республики на существование; Парижу угрожали развенчать его и лишить звания столицы (*décariter et décaritaliser*); орлеанисты назначались посланниками; Дюфор издавал свои законы о неоплаченных в срок векселях и квартирных неустойках,—законы, грозившие подорвать в корень торговлю и промышленность Парижа; по настоянию Пуйэ-Кертэ на каждый экземпляр какого бы то ни было издания вводился двухсантимный налог; Бланки и Флуранс были приговорены к смерти; республиканские газеты закрывались; Национальное Собрание переехало в Версаль; осадное положение, объявлено Паллиао и снятое 4-го сентября было возобновлено; Винуа, герой 2-го декабря, был назначен губернатором; жандарм Валянтэ—префектом полиции, иезуит Орель-де-Паладин,—главнокомандующим парижской национальной гвардии.

Теперь мы спросим у г. Тьера и членов правительства народной обороны, его приказчиков, о следующем: известно, что г. Тьер заключил при посредстве своего министра финансов, Пуйэ-Кертэ, заем в два миллиарда, долженствовавший быть немедленно оплаченным. Так вот, правда это или нет: 1) что дельце было устроено таким образом, что несколько сот миллионов «комиссии» очутились в карманах Тьера, Жюля Фавра, Эрнеста Пикара, Пуйэ-Кертэ и Жюля Симона; 2) что ушлату обязывались произвести только по «умиротворении» Парижа?

Во всяком случае нужда в деньгах была, очевидно, самая крайняя, так как Тьер и Жюль Фавр самым бесстыдным образом настаивали от имени Бордосского Собрания на занятии Парижа прусскими войсками. Но такой шаг не входил в политику Бисмарка, как он, по возвращении своем в Германию, насмешливо и во всеуслышание рассказывал изумленным франкфуртским филистерам.

II.

Вооруженный Париж являлся единственным серьезным препятствием для контр-революционного заговора; и посему требовалось его обезоружить. По этому поводу Бордосская палата высказалась с полнейшею откровенностью. Даже если бы яростный рев депутатов «помещичьей палаты» и не был так ясен, то отдача Парижа Тьером под начало триумvirата из декабрьского убийцы Видюа, бонапартского жандарма Вальянтена и иезуита Ореля-де-Паладина не оставляла места ни малейшему сомнению. Не скрывая истинного смысла обезоружения Парижа, заговорщики требовали этого от самого Парижа под таким предлогом, который являлся самой вопиющей и наглой ложью. Артиллерия национальной гвардии, заявлял Тьер, есть собственность государства, а посему подлежит возврату ему. На самом же деле факты были таковы: Париж был под ружьем с самого дня сдачи, когда пленники Бисмарка продали ему Францию, выговорив для себя значительную военную силу, с очевидной целью борьбы против Парижа. Национальная гвардия переорганизовалась и передала свое начальство Центральному Комитету, избранному всей массой национальных гвардейцев, не считая кое-каких батальонов бонапартистов. Накануне вступления пруссаков в Париж, Центральный Комитет сделал распоряжение о перевозке на Монмартр, в Лавиллет и в Бельвиль пушек и митральез, изменнически оставленных сдавшимися «капитуларами», именно в тех кварталах, в которые должны были вступить пруссаки. Эта артиллерия была создана на суммы, собранные самой национальной гвардией. В тексте капитуляции 28-го января она была официально признана частной собственностью национальной гвардии и, как таковая, не была включена в общую массу государственного оружия, подлежащего выдаче победителю. Тьер не имел ни малейшего повода начать войну с Парижем, и потому он должен был прибегнуть к наглой лжи, будто артиллерия национальной гвардии являлась государственной собственностью.

Это требование выдать артиллерию должно было служить, очевидно, только сигналом ко всеобщему обезоружению Парижа, а, следовательно, и к обезоружению революции 4-го сентября. Но эта революция была законной государственной формой Франции. Республика, результат этой революции, была признана победителем в

тексте капитуляции. После этой капитуляции ее признали все иностранные державы; от имени республики было созвано Национальное Собрание. Единственным законным основанием Бордосского Национального Собрания и его исполнительной власти являлась революция парижских рабочих 4-го сентября. Если бы не революция 4-го сентября, это Национальное Собрание немедленно должно было бы уступить свое место законодательному корпусу, который был избран в 1869 г. всеобщей подачею голосов при французском, а не при прусском правлении; и позднее был насильно разогнан революцией. Тьер и его ticket-of-leave-men должны были капитулировать, чтобы этим добиться охранных грамот за подписью Луи Бонапарта, избавлявших их от необходимости путешествовать в Каенну. Национальное Собрание с его полномочием заключить мир с прусскими было только одним из эпизодов этой революции, действительным воплощением ее был все-таки вооруженный Париж, тот Париж, который произвел революцию, Париж, выдержавший пятимесячную осаду со всеми ужасами голода, Париж, который, не взирая на «план» Трошю, своим продолжительным сопротивлением дал возможность вести упорную оборонительную войну провинциям. И ныне тот же Париж по уничижительному приказу бордосских рабовладельцев должен был или разоружиться, или признать, что революция 4-го сентября была не больше, чем простой передачей власти из рук Луи Бонапарта в руки его соперников роялистов; или же Парижу предстояло самоотверженно бороться за дело Франции, спасти которую от полного падения и возродить к новой жизни было можно только революцией, разрушением того политического и социального строя, который привел ко Второй Империи и сам под ее покровительством дошел до полного разложения. Париж, испытавший все ужасы пятимесячного голода, не задумывался ни на минуту. Он был полон геройской отваги, он приготовился перенести все тяжести борьбы с французскими заговорщиками контр-революции, несмотря на то, что прусские пушки угрожали ему с высоты его же бастионов. Но из отвращения к гражданской войне, которая грозила Парижу, Центральный Комитет всецело придерживался оборонительного положения, не обращая внимания ни на дерзкие выходы Национального Собрания, ни на непрошенное вмешательство исполнительной власти в его дела, ни на все более и более суживающееся кольцо войск вокруг него и его предместий.

И вот, Тьер сам начал гражданскую войну; он отправил Винуа

с полицейскими и несколькими линейными полками в разбойный поход ночью на Монмартр, чтобы, напав врасплох, захватить артиллерию национальной гвардии. Чем кончилась эта попытка, приведшая к энергичному отпору национальной гвардии и к братанию между войсками и народом,—всем известно. Орель-де-Паллади напечатал уже было заранее извещение о победе, а у Тьера были наготове объявления, возвещавшие о принятых им мерах к совершению государственного переворота. Эти объявления пришлось заменить манифестом, сообщавшим о благородной решимости Тьера даровать национальной гвардии ее оружие, в надежде, что оно будет употреблено на защиту правительства от бунтовщиков. Из 300-тысячной национальной гвардии только 300 человек отозвались на призыв маленького Тьера присоединиться к нему для защиты его от самих себя. Славная рабочая революция 18-го марта безраздельно владела Парижем. Временным ее правительством был избран Центральный Комитет. Европа, казалось, на минуту усомнилась в действительности совершавшихся пред ее глазами поразительных государственных и военных переворотов: не сон ли это из области давно минувшего?

С 18-го марта до вторжения версальских войск в Париж, революция пролетариев не была запятнана теми насилиями, которыми отличаются революции и, особенно, контр-революция «высших классов». Брати ее не смогли упрекнуть ее ни в чем, разве только в казни генералов Леконта и Клемана Тома и в стычке на Вандомской площади.

Бонапартровский офицер, генерал Леконт, участвовавший в почной экспедиции против Монмартра, четыре раза отдавал 81-му линейному полку приказание стрелять по безоружной толпе, на площади Pigalle; когда же солдаты отказались исполнить его приказание, он обругал их самым площадным образом. Вместо того, чтобы обратить оружие против незащищенных женщин и детей, они расстреляли его же самого. Укоренившиеся в них в школе врагов рабочего класса солдатские привычки не могли, разумеется, бесследно исчезнуть в них в ту же минуту, как только они перешли на сторону рабочих. Они же расстреляли и Клемана Тома.

«Генерал» Клеман Тома, недовольный своей карьерой, бывший квартирмейстер, примкнул в последние годы царствования Луи Филиппа к редакции республиканской газеты «Le National» в качестве ответственного болвана (gérant responsable, на обязанности кото-

рого лежало отсиживать в тюрьме) и бреттера-дуэлиста при этом зазорном органе. Когда после февральской революции собственники «National'a» захватили в свои руки власть, старый квартирмейстер был пожалован ими в генералы. Это случилось пред июньской бойней, причиной которой отчасти был он и Жюль Фавр, и в которой он играл самую гнусную роль палача. После этого он со своим генеральством исчез из виду и не появлялся уже до 1 ноября 1870 г. Накануне этого дня «правительство народной обороны» торжественно обещало в ратуше Бланки, Флурансу и другим представителям рабочих передать захваченную им власть в руки свободно избранной Парижской Коммуны. Вместо исполнения обещания, оно натравило на Париж бретонцев генерала Трошю, занявших теперь место корсиканцев Бонапарта. Только генерал Тамизье не захотел запятнать себя этим вероломством и отказался от звания главнокомандующего национальной гвардией. Заменивший его Клеман Тома снова оказался генералом. В продолжение всей своей службы он действовал не против пруссаков, а против парижской национальной гвардии. Он всеми силами протизился ее всеобщему вооружению, наускивал буржуазные батальоны на рабочие, устранял офицеров, не сочувствовавших «плану» Трошю, упразднял пролетарские батальоны, позоря их обвинением в трусости, — и это те батальоны, доблести которых удивляются теперь самые ярые противники их. Клеман Тома страшно кичился тем, что ему снова удалось доказать на деле свою личную вражду к парижскому пролетариату, которая так ярко проявилась в июньской бойне 1848 г. За несколько дней до 18-го марта он представил военному министру Лефлю свой проект «раз навсегда покончить с цветом парижской сволочи». После поражения Винуа он не мог отказать себе в удовольствии появиться на сцене в качестве шпиона из любви к искусству. Центральный Комитет и парижские рабочие так же виновны в смерти Клемана Тома и Леонота, как принцесса Уэльская в смерти людей, раздавленных в толпе при въезде ее в Лондон.

Мнимое избиение беззащитных граждан на Вандомской площади есть сказка. Не даром молчали о ней Тьер и депутаты помещичьего Национального Собрания; распространять эту сказку они поручили лакеям европейской журналистики.

«Люди порядка», французские реакционеры, содрогнулись при известии о победе революции 18-го марта. Для них она означала

близость народной расправы. Призраки жертв их «порядка», замученных ими, начиная с июньских дней 1848 г. до 22 января 1871 г., восстали перед ними. Но они отделались одним этим испугом. Полицейских не только не обезоруживали и не арестовывали, как следовало бы сделать, а широко раскрыли перед ними ворота Парижа для бегства их в Версаль. «Сторонников порядка» не только оставляли в покое, но им дана была возможность укрепиться на многих сильных позициях в сердце самого Парижа. Эта снисходительность Центрального Комитета, этот образ действий вооруженных рабочих, столь не свойственный нравам «партии порядка», был принят ею за признание рабочими своего бессилия. Вот почему у партии порядка явился бессмысленный план попробовать посредством мирной демонстрации добиться того, чего не достиг Винуа с его пушками и митральезами. 22-го марта из богатейших кварталов появилась шумная толпа «фешенебельных господ»; она состояла из всяческих пшотов, а во главе ее были известнейшие выкормыши империи, как Геккерен, Коэтлогон, Анри-де-Пен и им подобные. Они шли, трусливо прикрывшись лозунгом мирной демонстрации, втайне вооруженные, как разбойники, обезоруживая и оскорбляя попутно им встречавшиеся посты и патрули национальной гвардии. Они вышли с улицы Мира (Rue de la Paix) на Вандомскую площадь с криками: «Долой Центральный Комитет! долой убийц! да здравствует Национальное Собрание!» и ринулись вперед с целью прорвать линию караульных постов и захватить главную квартиру национальной гвардии, которая находилась за этой линией. На выстрелы из револьверов им отвечали обычным предложением разойтись, и когда это приглашение осталось без последствий, генерал национальной гвардии командовал стрелять. Один залп обратил в беспорядочное бегство эту толпу пустых голов, воображавших, будто одно появление «приличного общества» подействует на парижскую революцию, как трубы Иисуса Навина на стены Иерихона. «Демонстрантами» были убиты два национальных гвардейца и тяжело ранены девять (в числе последних—один из членов Центрального Комитета); вся местность, где произошел этот подвиг «партии порядка», была усеяна револьверами, кинжалами, палками со стилетами и тому подобными вещественными доказательствами «безоружного» характера их «мирной» демонстрации. Когда 13 июня 1849 г. национальная гвардия, протестуя против разбойничьего захвата Рима французскими войсками,

устроила действительно мирную демонстрацию, генерал «партии порядка» того времени, Шавгарнье, был провозглашен Национальным Собравием и особенно Тьером спасителем отечества за то, что он спустил отовсюду свои войска на беззащитную массу, которую терзали, рубили саблями и топтали лошадьми. Париж объявили тогда на осадном положении. Дюфор привел в Национальном Собрании целый ряд новых драконовых законов; произвели массу арестов и ссылок; воцарился террор. «Низшие классы» поступают иначе. Центральный Комитет 1871 года просто не обратил внимания на обратившихся в бегство героев «мирной демонстрации», так что через два дня они могли устроить уже *вооруженную* демонстрацию под предводительством адмирала Сэсса, закончившуюся ранее задуманным ими бегством в Версаль. Центральный Комитет, упорно отказываясь вести гражданскую войну, начатую Тьером его почной экспедицией против Монмартра, сделал роковую ошибку: надо было немедленно пойти на Версаль. Версаль не имел тогда достаточных средств к обороне — и раз навсегда покончить с конспирациями Тьера и его помещичьей палаты. Вместо этого «партию порядка» допустили снова попытать свои силы на выборах в Коммуну 26-го марта. В этот день «люди порядка» усердствовали в мэриях округов с речами примирения, давая себе, разумеется, втайне торжественную клятву кроваво отомстить своим чрезмерно великодушным победителям.

Посмотрим теперь на обратную сторону медали! Тьер принял вторую экспедицию против Парижа в начале апреля. С первой партией пленных парижан, приведенных в Версаль, поступили самым гнусным образом. Эрнест Пикар, запуская руки в карманы штанов, шнырял между рядами их и всячески насмехался над ними; а жены Тьера и Фавра, окруженные своей женской свитой, рукоплескали с балкона подлым выходкам версальской черни. Пленных солдат линейных полков расстреливали безапелляционно. Наш храбрый друг, генерал Дюваль, литейщик, был расстрелян без всякого суда и следствия. Галлифэ, «Альфонс» своей жены, бесстыдно выставлявшей на показ свое тело на оргиях Второй Империи, кичился в своей прокламации тем, что это он распоряжался избиением, совершенным его стрелками над отрядом национальной гвардии вместе с капитаном и поручиком, — отрядом, на который им удалось напасть врасплох и обезоружить. Винуа, бежавший из Парижа, по-

лучил от Тьера большой крест ордена Почетного Легиона за издание дневного приказа, предписавшего расстреливать каждого солдата, захваченного среди коммунаров. Жандарма Демарэ (Desmaret) наградили орденом за то, что он изменнически изрубил, как мясник, в куски рыцарски-великодушного Флуранса—того самого Флуранса, который 31 октября 1870 г. спас головы членов правительства народной обороны. Об «ободряющих подробностях» этой бойни Тьер с явным удовольствием разглагольствовал на одном из заседаний Национального Собрания. С надутым тщеславием парламенского мальчик-с-пальчика, которому позволили позировать в роли Тамерлана, он отказался признать за людьми, восставшими против его карликового величия, право воюющей стороны и не хотел соблюдать даже нейтралитета относительно их перевязочных пунктов. Не было ничему гнуснее этой обезьяны, которой дали власть удовлетворять ее инстинкты тигра, — обезьяны-тигра, портрет которой нарисовал нам Вольтер.

Несмотря на декрет Коммуны от 7-го апреля, в котором она угрожала возмездием, объявляя, что считает —своей обязанностью «защищать Париж от каннибальства версальских разбойников и требовать око за око и зуб за зуб», Тьер ничем не поступился в своем варварском обращении с пленными; он все так же глумился над ними, печатав в своих бюллетенях, что «никогда печальный взор честных людей еще не видел более бесчестных лиц, более бесчестной демократии», —взор честных людей, вроде Тьера и его ticket-of-leave-men. Тем не менее расстреливание пленных временно прекратилось. Но как только Тьер и его генералы—герои декабрьского (1851 г.) переворота,—узнали, что объявление возмездия Коммуной было простой угрозой, оставшейся без последствий, что были пощажены даже шпионы-жандармы, арестованные в Париже переряженными в национальных гвардейцев, и полицейские, схваченные с зажигательными снарядами,—как только они узнали об этом, они начали снова массовое расстреливание пленных, продолжавшееся уже беспрерывно до конца. Дома, в которых укрывались национальные гвардейцы, жандармы окружали, обливали керосином (здесь он был в первый раз употреблен в этой войне) и поджигали; обутленные трупы были извлечены впоследствии амбулаторией de la Presse (et les Ternes). Четыре национальных гвардейца, сдавшиеся в Belle - Epine 25-го апреля конным стрелкам, были расстреляны

по одиночке капитаном этих стрелков, достойной креатурой Гамлифа. Один из этих гвардейцев, Шеффер, которого стрелки приняли за мертвого, кое-как дополз до парижских фюртов и засвидетельствовал об этом факте пред одной из комиссий Коммуны. Когда Толэн запросил, по поводу отчета этой комиссии, военного министра Лефлю, депутаты «помещичьей палаты» заглушили его слова криком и не дали Лефлю отвечать: было бы оскорблением для их «славной» армии говорить о ее подвигах. Небрежный тон бюллетеней Тьера, сообщавших о заколотых штыками сонных коммунарах в Мулен Сакэ, о массовом расстреливании в Клемане, оскорбил чувствительность даже лондонского Times'a, не отличавшегося, обыкновенно, особенною чувствительностью. Но было бы тщетной попыткой пересчитать все жестокости людей, бомбардировавших Париж, защитников рабовладельческого бунта под покровительством чужеземного завоевателя. Среди всех этих ужасов Тьер забывает свои парламентские фразы о страшной ответственности, возложенной на его плечи лилипутами; он кичится в своих бюллетенях тем, что l'Assemblée siège paisiblement (собрание заседает благополучно) и доказывает парадными обедами со своими генералами, — героями декабрьского переворота, или с немецкими принцами, что его пищеварение не испортили даже призраки Леконта и Клемана Тома.

III.

Утром 18 марта 1871 года Париж был разбужен громовыми криками: «Да здравствует Коммуна!» Что же такое эта Коммуна, этот сфинкс, задавший такую тяжелую задачу буржуазным мозгам?

«Парижские пролетарии», писал в манифесте от 18-го марта Центральный Комитет, «видя поражение и измену господствующих классов, поняли, что настал час, когда они сами должны спасти страну, взяв в свои руки управление общественными делами... Они поняли, что на них возложен этот долг, что им принадлежит неоспоримое право стать господами собственной судьбы и взять в свои руки правительственную власть». Но рабочий класс не может просто завладеть готовой государственной машиной и заставить ее служить своим собственным целям.

Центральная государственная власть со своими вездесущими органами, основанными на принципе систематического и иерархического

разделения труда: регулярной армией, полицией, бюрократией, духовенством и судьями,—существует со времен абсолютной монархии, когда она служила сильным оружием нарождавшемуся буржуазному обществу в борьбе его с феодализмом. Но местные и дворянские привилегии, местные привилегии городские и цеховые монополии и провинциальные уложения—весь этот средневековый хлам задерживал ее развитие. Исполненное помело французской революции XVIII столетия смело весь отживший сор давно минувших веков и очистило, таким образом, общественную почву от последних помех для сооружения здания современного государства. Это здание воздвигнуто было при первой империи, вызванной с одной стороны, к жизни коалиционными войнами старой полуфеодальной Европы с новой Францией. При дальнейшем развитии форм господства правительство было подчинено парламентскому контролю, т. е. непосредственному контролю имущих классов. С другой стороны оно превратилось в рассадник неисчислимых государственных долгов и тяжелых налогов, оно стало яблоком раздора между конкурирующими фракциями и авантюристами господствующих классов, которых влекли к нему его административная сила, его доходы и должности, которыми оно располагало; с другой стороны, под влиянием экономических изменений в обществе изменился и его политический характер. По мере того, как прогресс современной промышленности развивал, расширял и углублял классовую противоположность между капиталом и трудом, государственная власть все в большей степени приобретала характер общественной силы, служащей для порабощения рабочего класса, характер орудия для классового господства. После каждой революции, являющейся шагом вперед в классовой борьбе, характер государственной власти, как орудия только угнетения, выступает все определеннее. Резолюция 1830 года отняла власть у поземельных собственников и отдала ее капиталистам, т. е. из рук более отдаленных врагов рабочего класса передала ее более непосредственным врагам их. Республиканцы-буржуа именем февральской революции захватили государственную власть и употребили ее на то, чтобы устроить июньскую бойню; они этой бойней доказали рабочему классу, что «социальная» республика есть не что иное, как социальное порабощение его республикой; а буржуа-роялистам и поземельным собственникам,—что они могут беспрепятственно предоставить буржуа-республиканцам заботы и денежные выгоды управления. Но

после июньского подвига буржуа-республиканцы должны были перейти из первых рядов «партии порядка» в последние ряды этой коалиции, образовавшейся из всех враждующих фракций и партий имущих классов, вставших теперь в открытую противоположность к классам производительным. Самую подходящую форму для их совместного управления оказалась парламентская республика с Луи Бонапартом, как президентом, во главе; это было правительство неприкрытого классового террора и умышленного оскорбления «подлой черни». По словам Тьера, парламентская республика была такой формой правления, которая меньше всех других разделяла различные фракции господствующего класса, но за то она открыла пропасть между этим немногочисленным классом и всем общественным организмом, жившим вне его. Если при прежних правительствах раздоры внутри этого класса возлагали известные ограничения на государственную власть, то теперь, благодаря объединению имущего класса, эти ограничения отпали. В виду угрожавшего восстания пролетариата, объединившийся имущий класс стал бессовестно и нагло пользоваться государственной властью, как национальным оружием капитала против труда. Но его крестовый поход против массы производителей заставил с одной стороны, давать исполнительный власти все больше и больше прав по подавлению сопротивления, с другой—постепенно отнимать у парламентской твердыни—Национального Собрания—все средства обороны против исполнительной власти; и Луи Бонапарт, представлявший собой эту исполнительную власть, разогнал представителей имущего класса. Вторая империя явилась естественным следствием республики «партии порядка».

Империя, которой государственный переворот служил метрикой, всеобщая подача голосов—санкцией, а сабля—скипетром, заявляла притязание на то, что опирается на крестьян, на эту обширную массу производителей, которая не участвовала непосредственно в борьбе между капиталом и трудом. Империя выдавала себя за спасительницу рабочего класса на том основании, что она разрушила парламентаризм, а вместе с ним и неприкрытое подчинение правительства имущим классам, на том основании, что она поддержала их экономическое господство над рабочим классом. И наконец, она заявляла притязания на объединение всех классов вокруг вновь ожившего призрака национальной славы. В действительности империя была единственно возможной формой правления в такое время, когда

буржуазия уже потеряла способность управлять народом, а рабочий класс еще не приобрел этой способности. Весь мир приветствовал империю, как спасительницу общества. Под господством ее, буржуазное общество, освобожденное от политических забот, достигло такой высокой степени развития, о которой оно не могло и мечтать. Промышленность и торговля разрослась в необъятных размерах; биржевая спекуляция праздновала свои космополитические оргии, нищета масс резко выступала рядом с нахальным блеском беспутной роскоши, нажитой надувательством и преступлением. Государственная власть, стоявшая, повидимому, высоко над обществом, была в действительности самым вопиющим скандалом этого общества, распадником всяческой мерзости. Штыки Пруссии, жаждавшие перенести центр тяжести этой системы управления из Парижа в Берлин, обнажили всю гнилость этой государственной власти и гнилость спасенного ею общества. Империализм есть самая prostituiрованная и самая последняя форма той государственной власти, которая была создана зарождавшимся буржуазным обществом, как орудие его освобождения от феодализма, и которую буржуазия, когда она вполне развилась, превратила в орудие порабощения труда капиталу.

Коммуна была прямой противоположностью империи. Крик: «да здравствует социальная республика», которым парижский пролетариат приветствовал февральскую революцию, выражал лишь неясное стремление к такой республике, которая не только уничтожила бы монархическую форму классового господства, но и самое классовое господство. Коммуна не являлась именно определенной формой такой республики.

Париж, бывший резиденцией и центром старой правительственной власти, а вместе с тем и общественным центром французского рабочего класса, Париж восстал с оружием в руках против попытки Тьера и его помещичьей палаты восстановить и увековечить эту старую правительственную власть, оставшуюся в наследство от империи. Париж мог сопротивляться Версалию только потому, что осада освободила его от армии, место которой заняла национальная гвардия, комплектовавшаяся большей частью из рабочих. Этот факт надо было превратить в прочное учреждение, и потому первым декретом Коммуны был декрет об уничтожении регулярного войска и о замене его вооруженным народом. Коммуна была образована из муниципальных советников (городских граждан); выбранных париж-

скими округами посредством всеобщей подачи голосов. Члены ее были ответственны и сменяемы в любое время. Большинство их было, как это само собою разумеется, рабочими или известными представителями рабочего класса. Коммуна должна была быть не парламентским учреждением, а деловой коллегией, соединявшей в себе как исполнительную, так и законодательную власть. У полиции, бывшей до сих пор орудием государственного правительства, были немедленно отняты все ее политические функции, и она была превращена в ответственное и во всякое время сменяемое орудие Коммуны. Та же судьба постигла чиновников и другие отрасли управления. Начиная с членов Коммуны и до самых низов, общественные должности оплачивались жалованьем в размере заработной платы. Привилегии и оклады на представительство, которыми пользовались высшие сановники, исчезли вместе с ними. Общественные должности перестали быть частной собственностью креатур центрального правительства. Не только городское управление, но и вся индустрия, принадлежавшая доселе государству, перешла к Коммуне.

Уничтожив регулярную армию и полицию—эти орудия материальной силы старого правительства,—Коммуна приступила немедленно к сокрушению власти духовенства, этого орудия духовного порабощения; она декретировала распускание и экспроприацию всех церквей, поскольку они были корпорациями, владевшими имуществом. Священники должны были вернуться к скромной жизни частных людей и, подобно их предшественникам—апостолам, жить милостынею верующих. Все учебные заведения, поставленные вне влияния церкви и государства, стали бесплатными для всех. Таким образом, школьное образование сделалось доступным всем; с науки были сняты оковы, наложенные классовыми предрассудками и правительственной властью.

Судей лишили той мнимой независимости, которая только скрывала их подчиненность поочередно сменявшимся правительствам; они каждому правительству приносили присягу на верность и каждому изменяли. Как и прочие должностные лица общества, они были сделаны выборными, ответственными и сменяемыми.

Парижская Коммуна должна была служить естественным образцом всем большим промышленным центрам Франции. Если бы Коммуна водворилась в Париже и второстепенных центрах, старое централизованное правительство уступило бы место самоуправлению про-

изводителей и в провинциях. В кратком очерке национальной организации, который Коммуна не успела подробно разработать, прямо говорится, что Коммуна должна стать политической формой самых маленьких деревушек, и что постоянное войско должно быть заменено по всей стране народной милицией с самым кратким сроком службы. Собрание уполномоченных, заседающих в главном городе округа, должно было заведывать общими делами всех сельских общин каждого округа, а эти окружные собрания, в свою очередь, должны были посылать уполномоченных в Национальное Собрание, заседающее в Париже; уполномоченные должны были строго придерживаться инструкций своих избирателей и могли быть смещены во всякое время. Немногие, но важные функции, составившиеся еще у центрального правительства, должны были быть не уничтожены, как ложно говорили враги Коммуны, а лишь переданы коммунальным чиновникам, т.-е., таким, которые были строго ответственны. Коммунальное устройство не разрушало, а, напротив, организовывало единство нации; это единство должно было превратиться в нечто действительное с уничтожением государственной власти, считавшейся воплощением этого единства, претендовавшей стоять выше нации и независимо от нее, а на деле бывшей только паразитом на организме нации. Уничтожая те органы старой правительственной власти, которые служили только для утешения, Коммуна вырывала из рук этой власти, претендовавшей стоять выше общества, ее законные функции, и отдавала их ответственным слугам общества. Всеобщая подача голосов до сих пор служила народу для выбора каждые три года или шесть лет какого-нибудь члена господствующего класса, который представлял и подавлял народ в парламенте; теперь она должна была служить народу, организованному в Коммуны, точно так же, как служит индивидуальное право голоса каждому работодателю при приискании рабочих, надзирателей и бухгалтеров для своего предприятия. Ведь общества, точно так же, как и отдельные лица, всегда умеют найти для своих практических предприятий подходящих людей, а если иногда ошибаются, то умеют очень скоро поправить свою ошибку. С другой стороны, Коммуна, по самому существу своему, была безусловно враждебна замене всеобщей подачи голосов иерархическою инвентитурую.

Все новые исторические формы общества принимаются, обыкновенно, за сколок с более старых, отживших форм общественной

жизни, на которые они сколько-нибудь походят. Точно так же и новую Коммуну, сломившую современную государственную власть, принимали за возрождение коммун средних веков, предшествовавших возникновению этой государственной власти и составивших основу ее. Коммунальное устройство ошибочно считали попыткой заменить союзом маленьких государств (о котором мечтали Монтескье и жирондисты), то единство великих народов, которое хотя и создано было насильем, но стало теперь могущественным фактором общественного производства. Антагонизм Коммуны с государственной властью ошибочно считали преувеличением старой борьбы против чрезмерной централизации. В некоторых странах полному развитию той буржуазной формы правительства, образцом которой является Франция, мешали некоторые особые исторические условия; эти условия создали, напр., то, что в Англии главные центральные государственные органы дополняются продажными приходскими собраниями (vestries), корыстолюбивыми членами городских советов, свирепыми попечителями о бедных в городах и фактически наследственными мировыми судьями в деревнях. Все те силы, которые до сих пор общественный организм терял, благодаря «государству», этому паразиту, питающемуся соками общества и мешающему ему свободно двигаться, все эти силы вновь отдало бы ему коммунальное устройство. Уже одним этим оно способствовало бы возрождению Франции.

Буржуазия провинциальных городов видела в Коммуне попытку восстановить то господство над деревней, которым она пользовалась при Луи Филиппе и которое при Луи Бонапарте было вытеснено мнимым господством деревень над городами. В действительности, Коммуна хотела подчинить сельских производителей умственному руководству окружающих городов, и обеспечить им в городских рабочих естественных представителей их интересов. Уже из факта существования Коммуны естественно вытекало местное самоуправление, но это местное самоуправление не должно было больше служить противовесом государственной власти, становившейся совершенно излишней. Только какому-нибудь Бисмарку, употребляющему все время, свободное от интриг, в которых на первом месте всегда кровь и железо, своему старинному, больше всего подходящему к его умственным способностям, сотрудничавшему в «Kladderadatsch'e», — только такому человеку могло прийти в голову, что Парижская

Коммуна в сущности стремилась к прусскому городскому устройству,—карикатуре на французское городское устройство 1791 года, превращающей городские советы во второстепенные колеса прусского государственного полицейского механизма.

Уничтожив две крупнейшие статьи расходов: армию и чиновничество, Коммуна осуществила собою идеал всех буржуазных революций—дешевое правительство. Самое существование ее было отрицанием монархии, которая является в Европе, по крайней мере, обычным балластом и неизбежной маской классового господства. Коммуна создала для республики фундамент действительно демократических учреждений. Но ни «дешевое правительство», ни «истинная республика» не были конечной целью ее; и то, и другое явилось само собою, между прочим.

Различные толкования значения Коммуны, разнообразные интерпретации, которые она выражала, доказывают, что она была весьма растяжимой государственной формой, меж тем, как все прежние формы правительства были по существу своему формами угнетения. Тайна ее заключается в том, что она, по существу, своему, была производством рабочего класса, результатом борьбы между классом производящим и классом присваивающим, той давно искомой политической формой, в которой могло бы совершиться экономическое освобождение труда.

Без этого последнего условия Коммуна немыслима, без него она пустой призрак. Политическое господство производителей не может существовать рядом с увековечением их социального рабства. Коммуна должна была поэтому служить орудием ниспровержения тех экономических устоев, на которых зиждется самое существование классов, а следовательно, и классовое господство. Раз труд освобожден, все станут рабочими, и производительный труд перестанет быть особенностью известного класса.

Странная вещь: стоит только рабочим где-нибудь взять дело в свои руки, и тотчас, несмотря на все, что за последние 60 лет писалось и говорилось об освобождении труда, начинают раздаваться хвалебные гимны защитников современного общества с его двумя противоположными полюсами: капиталом и рабством наемного труда (земельные собственники являются теперь лишь безгласными компаньонами капиталистов). Как будто бы капиталистическое общество пребывало еще в девственной чистоте и непорочности! Как будто бы

неразвиты были еще его основы, не вскрыты его самообманы, не разоблачена вся его протитутуированная действительность! Коммуна, говорят они, хочет уничтожить собственность, основу всей цивилизации! Да, милостивые государи, Коммуна хотела уничтожить эту классовую собственность, которая превращает труд многих в богатство немногих. Она хотела экспроприировать экспроприаторов. Она хотела создать индивидуальную собственность. вразравду, превратив средства производства, землю и капитал, служащие в настоящее время, прежде всего, орудиями порабощения и эксплуатации труда, в орудие свободного ассоциированного труда.

Но ведь это коммунизм, «невозможный» коммунизм! Однако, нашлись же среди господствующих классов люди, — и их не мало — которые поняли, что настоящее положение вещей не может долго существовать; они стали назойливыми и крикливыми апостолами кооперативного производства. А если кооперативное производство не звук пустой и не обман, если оно должно вытеснить капиталистическую систему, если ассоциации организуют национальное производство по общему плану, возьмут его в свое заведывание и этим прекратят постоянную анархию и периодические конвульсии неизбежные при капиталистическом производстве, не будет ли это, спрашиваем мы вас, милостивые государи, коммунизмом, «возможным» коммунизмом?

Рабочий класс не требовал чудес от Коммуны. Он не думает осуществлять посредством народного решения готовых и законченных утопий. Он знает, что для того, чтобы добиться своего освобождения и достигнуть той высшей формы жизни, к которой неудержимо стремится современное общество в силу собственного своего экономического развития, ему придется выдержать упорную борьбу, пережить целый ряд исторических процессов, которые совершенно изменят и людей и обстоятельства. Рабочему классу предстоит не осуществлять какие-либо идеалы, лишь дать простор элементам нового общества, которые уже развились в недрах разрушающегося буржуазного общества.

Вполне сознавая свое историческое призвание, полный геройской решимости стоять на высоте этого призвания, рабочий класс может ответить презрительной улыбкой на пошлую ругань газетчиков-лакеев и на ученые назидания благонамеренных буржуа-доктринеров, ко-

торые тоном непогрешимого оракула изрекают свои живые общие места и преподносят свои высиженные рецепты.

Когда Парижская Коммуна взяла на себя руководство революцией; когда простые рабочие впервые решились посягнуть на привилегию своего «естественного начальства» — имущих классов, именно: на привилегию управления, — они взялись за работу при неслыханно-тяжелых условиях и исполняли ее скромно, добросовестно и успешно; высший размер их вознаграждения не превышал одной пятой части жалованья, получаемого, по словам известного авторитета в науке (проф. Гексли), секретарем лондонского школьного совета. Старый мир скорчило от бешенства, когда он увидел красное знамя над городской ратушей, — символ республики труда.

Это была первая революция, в которой рабочий класс был открыто признан единственным классом, способным еще к общественной инициативе; это признал парижский средний класс — мелкие торговцы, ремесленники, купцы, все, за исключением богатых капиталистов. Мудро разрешив вопрос, бывший всегда причиной раздоров в самом среднем классе — вопрос о должниках и кредиторах — Коммуна спасла этот класс. Эта часть среднего класса участвовала в 1848 году в подавлении июньского восстания рабочих, и сейчас же затем Учредительное собрание бесцеремонно отдало ее в жертву ее кредиторам. Но она примкнула теперь к рабочим, не только поэтому. Она чувствовала, что ей приходится выбирать между Коммуной и Империей, какой бы ярлык она ни носила. Империя разорила средний класс в материальном отношении своим расхищением общественного богатства, покровительством биржевой спекуляции, искусственным ускорением централизации капитала и вызываемой ею экспроприацией значительной части этого среднего класса. Империя политически угнетала его и нравственно возмущала своими орудиями; она оскорбляла его вольтерьянство, поручая воспитание его детей «невежественным патерам»; она возмутила его национальное чувство, затеяв эту войну, которая вознаградила за все ее бедствия только одним — ниспровержением империи. После бегства из Парижа шайки высших бонапартовских сановников и капиталистов, истинная «партия порядка» среднего класса, выступившая под именем «Республиканского Союза», стала под знамя Коммуны и защищала ее от клеветы Тьера. Выдержит ли признательность этой массы среднего класса теперешние тяжелые испытания — это покажет будущее.

Коммуна имела полное право объявить крестьянам: «Наша победа—ваша надежда!» Самой паглой клеветой, пущенной в ход в Версале и разнесенной по всему свету достославными башлибузками европейской печати, было утверждение, что помещики Национального Собрания являлись представителями французских крестьян.

Не правда ли, как правоподобна это внезапно вспыхнувшая во французских крестьянах любовь к людям, которым они после 1815 г. должны были заплатить миллиард вознаграждения! В глазах французского крестьянина уже самое существование крупного поземельного собственника есть посягательство на его завоевания 1789 года.

В 1848 году буржуа обложили землю крестьян добавочным налогом в 45 сантимов на франк, но это сделали именем революции; теперь они же затеяли гражданскую войну против революции, чтобы взваливать на плечи крестьян главную тягость 5-миллиардной контрибуции, которую они обязались уплатить пруссакам.

Коммуна, напротив, заявила в одной из первых же своих прокламаций, что бремя войны должны нести настоящие виновники ее. Коммуна освободила бы крестьянина от «налога крови», дала бы ему дешевое правительство, заменила бы таких пиявок, как нотариус, адвокат, судебный пристав и проч.—наемными коммунальными чиновниками, выбираемыми им самим и ответственными перед ним. Она освободила бы его от произвола полевого сторожа, жандарма и префекта; она заменила бы отупляющего его ум священника проповедующим его школьным учителем.

Французский крестьянин прежде всего расчетлив. Он нашел бы вполне разумным платить пошам не из сумм, взимаемых сборщиками податей, а из добровольных пожертвований, размер которых зависел бы от степени набожности общины. Вот какие существенные блага обещало непосредственно господство Коммуны—и только Коммуны—французским крестьянам. Поэтому излишне останавливаться здесь на тех более сложных и действительно жизненных вопросах, которые только одна Коммуна могла и необходимо должна была решить в пользу крестьян,—таковы вопросы об ипотечном долге, который тяготел на крестьянской земле, о сельском пролетариате, возрастающем со дня на день, об экспроприации самих крестьян, которая совершалась все быстрее и быстрее, благодаря развитию новейшего сельского хозяйства и конкуренции капиталистического земледелия.

Луи Бонапарт был избран французским крестьянством в президенты республики, Вторую же Империю создала «партия порядка». В 1849 и 50 гг. французский крестьянин, противопоставляя повсюду своего мэра правительственному префекту, своего школьного учителя — правительственному священнику, себя самого — правительственному жандарму, начал этим показывать, что ему нужно на самом деле. Все реакционные законы, изданные «партией порядка» в январе и феврале 1850 г. были направлены, по ее собственному признанию, против крестьян. Крестьянин был бонапартистом, потому что он отождествлял великую революцию и принесенные ему ею выгоды с именем Наполеона. Этот самообман при Второй Империи быстро исчез. Этот предрассудок прошлого (по существу своему, враждебный стремлениям «помещиков»), не мог бы устоять против призыва Коммуны к жизненным интересам и насущным потребностям крестьян. Помещики отлично понимали (и этою они больше всего боялись), что если Коммунальный Париж будет свободно сообщаться с провинциями, то через какие-нибудь три месяца вспыхнет поголовное крестьянское восстание. Поэтому-то они так трусливо спешили окружить Париж полицейскою блокадой, чтобы помешать распространению заразы.

Коммуна служила истинною представительницею всех здоровых элементов французского общества; она была поэтому действительно национальным правительством. Но, будучи правительством рабочих, смелой поборницей освобождения труда, она являлась в то же время международной в полном смысле этого слова. Перед лицом прусской армии, присоединившей к Германии две французские провинции, Коммуна присоединяла к Франции рабочих всего мира.

Вторая Империя была праздником космополитического могущества. На ее призыв из всех стран бросились грабители, чтобы принять участие в ее оргиях и в ограблении французского народа. Даже в настоящую минуту правой рукой Тьера является Гадеско, валашский плут, а левой — Марковский. Коммуна предоставила всем иностранцам честь умереть за бессмертное дело. Буржуазия успела в промежуток между внешнею войною, проигранная из-за ее измены, и гражданской войною, вызванной ее заговором с чужеземным завоевателем, показать свой патриотизм полицейскою травлей против немцев по всей Франции. Коммуна назначила немца министром общественных работ.

И Тьер и буржуазия, и Вторая Империя постоянно обманывали поляков громкими выражениями своего сочувствия, на деле предавая поляков. Коммуна почтила героических сынов Польши, поставив их во главе защитников Парижа. Чтобы резко оттенить новую историческую эру, которую она сознательно открывала собой, Коммуна пред лицом пруссаков-победителей, с одной стороны, и Бонапартовской армии с бонапартовскими генералами во главе, с другой, низвергла колоссальный символ военной славы—Вандомскую колонну.

Великим социальным мероприятием Коммуны было ее собственное существование, ее работы. Отдельные меры, предпринимаемые ею, могли обозначить только направление, в котором развивается управление народа посредством самого народа. К числу их принадлежали: запрещение ночной работы пекарей; запрещение, под страхом наказания, понижать заработную плату наложением штрафов на рабочих под всевозможными предлогами—обычный прием работодателей, которые, соединяя в своем лице законодательную, судебную и исполнительную власти, кладут штрафные деньги себе в карман. Подобной же мерой была и передача рабочим товариществам всех мастерских и фабрик, владельцы которых бежали или приостанавливали работы, с предоставлением им права на вознаграждение.

Финансовые меры Коммуны отличались расчетливостью и умеренностью; она должна была ограничиться только мерами, совместными с осажденным положением города. Под управлением Османа ¹⁾, Париж так обкрадывали банкирские компании и предприниматели построек, что Коммуна имела значительно большие права конфисковать их имущества, чем Луи Бонапарт имущество Орлеанов. Голландцы и английские олегары, большая часть богатств которых состоит из награбленных церковных имуществ, были сильно возмущены Коммуной, которая получила от конфискации церковных имуществ всего только 8000 франков.

Версальское правительство, как только оно немного приобрилось и окрепло, стало принимать против Коммуны самые насиль-

¹⁾ Барон Осман (Haussmann) был во время второй Империи префектом сенского департамента, т.е. города Парижа. Провел ряд работ по проложению новых улиц и проч. в целях облегчения борьбы с рабочими восстаниями.

Примеч. ред. русс. пер.

ественные меры; оно давило во всей Франции всякое свободное выражение мнений, запретило даже собрания делегатов больших городов; оно завело шпионов в Версале и во всей Франции и, притом, в более широких размерах, чем при Второй Империи; его жандармы—инквизиторы сжигали все издававшиеся в Париже газеты, вскрывали все письма из Парижа и в Париж; Национальное Собрание на самую робкую попытку сказать слово в защиту Парижа отвечало неистовым воем, неслыханным даже в помещицкой палате—*Chambre introuvable* 1816 года. Версальцы не только вели кровавую войну против Парижа, но еще старались подкупам и заговорами проникнуть в него. Могла ли Коммуна при таких условиях, не изменяя позорно своему призванию, соблюдать, как при глубоком мире, условные формы либерализма? Если бы правительство Коммуны было таково же по духу, как и правительство Тьера, то не было бы причин запрещать газеты «партии порядка» в Париже и газеты Коммуны в Версале.

Естественно, что депутаты «помещицкой палаты» бесились, когда в то время, как они объявили единственным средством для спасения Франции возвращение в лоно церкви, неверующая Коммуна раскрывала тайны женского монастыря Пикнуса и церкви св. Лаврентия. Разве это не было редкой сатирой на Тьера, сыпавшего кресты почетного Легиона на генералов Бонапарта за их отличное умение проигрывать сражения, подписывать капитуляции и делать папирсы в Вильгельмстоэ, что Коммуна сменяла и арестовывала своих генералов при малейшем подозрении в небрежном исполнении своих обязанностей. Разве это не было пощечиной фабриканту фальшивых документов, Жюлю Фавру, министру иностранных дел Франции, продавшему ее Бисмарку, диктовавшему приказы несравненному бельгийскому правительству, если Коммуна сместила и арестовала одного из членов своих, который врался в нее под вымышленным именем после 6 дней ареста в Лионе за банкротство! Но Коммуна зато не претендовала на непогрешимость, как это делали все старые правительства, без исключения. Она опубликовывала все речи своих заседаний, оглашала все свои действия; она посвящала публику во все свои несовершенства.

Всякая революция выдвигает рядом с истинными ее представителями еще и людей другого покроя. Таковы, с одной стороны, люди, игравшие выдающуюся роль в прежних революциях, сросшиеся

с ними и потому не понимающие смысла настоящего движения; но несмотря на это, имеющие громадное влияние на народ, благодаря своему мужеству, личному характеру или просто традиции; таковы, с другой стороны, простые крикуны, из года в год повторяющие свои стереотипные нападки на существующее правительство и получающие поэтому имя революционеров высшей пробы. Такие люди появились и после 18-го марта. Им случалось играть и первоклассную роль и, насколько они были в силах, они задерживали истинное движение рабочего класса, как раньше они мешали полному развитию всех прежних революций. Они—неизбежное зло; от них можно освободиться только со временем, но этого-то времени Коммуна и не имела.

Коммуна каким-то чудом преобразила Париж. Распутный Париж Второй Империи бесследно исчез. Столица Франции перестала быть сборным пунктом для британских крупных поземельных собственников, ирландских абсентеистов, американских экс-рабовладельцев и выскочек, русских экс-крепостников и валашских бояр. В морге ни одного трупа, нет ночных грабежей, почти ни одной кражи. С февраля 48 года улицы Парижа в первый раз стали безопасными, хотя на них не было ни одного полицейского. «Мы уже не слышим,—говорил один из членов Коммуны,—ни об убийствах, ни о грабежах, ни о преступлениях против личностей; можно думать, что полиция увезла с собой в Версаль всех консервативных друзей своих». Кокотки последовали за своими покровителями, за этими обратившимися в бегство толпами семьи, религии и особенно собственности. Их место заняли снова истинные парижанки, такие же героические, великодушные и самоотверженные, как женщины классической древности. Трудящийся, мыслящий, борющийся, истекающий кровью, но сияющий вдохновенным сознанием своей исторической инициативы, Париж почти забывал о людоедах, стоявших пред его стенами, всецело отдавшись строению нового общества.

И лицом к лицу с этим новым миром Парижа стоял старый мир Версаля—это собрание отрешев всех отживших порядков—легитимистов и орлеанистов, жаждущих растерзать труп народа,—с хвостом из допотопных республиканцев, поддерживавших в Национальном Собрании рабовладельческий бунт; они надеялись, что, благодаря тщеславию старого арлекина, находившегося во главе правления, они отстоят свою парламентскую республику; они занимались тем, что пародировали 1789 год своими таинственными собра-

ниями в *jeu de Paume* (зал для игры в мяч, где национальное собрание 1789 года приняло свои знаменитые решения). Это собрание, этот труп, представлявший собою всю отжившую Францию, продолжало жить призрачной жизнью, благодаря исключительно саблям генералов Бонапарта, которые были для него подпорою. Париж весь—истина; Версаль весь—ложь; и глашатаем этой лжи был Тьер.

Тьер обратился к депутатам мэров департамента Сены и Уазы в следующими словами: «Вы можете довериться моему слову; я *никогда* не нарушал его». Он говорил собранию, что «оно самое либеральное и наиболее свободно избранное из всех собраний, которые Франция когда-либо имела»; своему разношерстному воинству он говорил, что оно—«чудо мира» и «наилучшая из армий, которую когда-либо имела Франция»; провинциям,—что бомбардировка Парижа—только сказка: «если и упало несколько бомб, то они были пущены не версальской армией, а инсургентами, которые хотели показать, что они сражаются, хотя на самом деле они боялись нас показать». Позже он объявлял провинциям: «версальская артиллерия не бомбардирует Парижа, а только стреляет в него из пушек». Парижскому архиепископу он говорил, что все расстреливания и репрессивные меры, в которых обвиняют версальцев,—одна ложь. Он объявил Парижу, что хочет «только освободить его от угнетающих его отвратительных тиранов», и что коммунальный Париж есть, «не больше и не меньше, как кучка преступников».

Париж Тьера не был действительным Парижем «подлой черни», он был фантастическим Парижем, Парижем шулеров, Парижем бульварных завсегдатаев обоого пола, богатым, капиталистическим, позолоченным, тунеядствующим Парижем; тем Парижем, который со своими лакеями, жуликами, кокотками, литературской богемой наполнял теперь Версаль, Сен-Дени, Рюэль и Сен-Жермен, который считал междоусобную войну только интересной интермедией, который в подзорную трубу любовался битвой, вел счет пушечным выстрелам и клялся честью своей и своих публичных женщин, что спектакль здесь гораздо лучше, чем в театре *Porte st. Martin*. Ведь убитые действительно были убиты, крики раненых не были поддельны, и драма, происходившая пред ними, была всемирно-историческою драмою.

Таков был Париж Тьера, точно так же, как Кобленцкая эмиграция была Францией де-Калона.

IV.

Только из-за отказа Бисмарка не удалась первая попытка рабовладельческого заговора покорить Париж, заняв его прусскими войсками. Вторая попытка, сделанная 18-го марта, окончилась поражением армии и бегством правительства в Версаль, куда за ним последовала и вся администрация. Прикрываясь мирными переговорами с Парижем, Тьер выигрывал время для приготовления к войне с ним. Но где ему было взять армию? Остатки линейных батальонов были малочисленны, а настроение их сомнительное; на настоячивые воззвания Тьера к провинциям помочь Версалью национальной гвардией и волонтерами ему ответили открытым отказом. Только Бретань послала кучку шуанов, которые сражались под белым знаменем с сердцем Христа в нагруднике на груди; их боевой клич был: «Да здравствует король»! Таким образом, Тьер мог только наскоро собрать разношерстную толпу матросов, морских солдат, палких зузвов, жандармов Вальянгена, полицейских Пиэтри и шпионов. Если бы не постепенно прибывавшие империалистические военнопленные, которых Бисмарк отпуская в обмен на прусских пленнх в таком количестве, чтобы могла начаться междоусобная война, с одной стороны, и чтобы можно было держать Версаль в рабской зависимости от Пруссии, с другой стороны, если бы не эти пленные, армия Тьера была бы ничтожна до смешного. Версальская полиция должна была во время этой войны наблюдать за версальской армией, а жандармы должны были всегда увлекать за собою эту армию, становясь на самые опасные пункты. Павшие форты были не завоеваны, а куплены. Геройство коммунаров показало Тьеру, что для преодоления сопротивления Парижа недостаточно ни его стратегического гения, ни находящегося в его распоряжении количества штыкоз. Между тем, его отношения к провинциям становились все более натянутыми. В Версали не получили ни одного сочувственного адреса, который мог бы хоть сколько-нибудь ободрить Тьера и его помещиков. Наоборот, со всех сторон прибывали депутаты и адреса, настаивавшие далеко не в почтительном тоне, на примирении с Парижем, — на основе недвусмысленного признания республики, утверждений коммунальных свобод и роспуске Национального Собрания, срок полномочий которого уже истек. Депутатий и адресов появлялось столько, что Дю-

фор, министр юстиции у Тьера, приказав государственным прокурорам, в циркуляре от 23-го апреля, считать «воззвания к примирению» преступлением. Видя безнадежность похода против Парижа, Тьер решил переменить тактику и назначил на 30-е апреля муниципальные выборы для всей страны по новому закону, навязанному им Национальному Собранию. Действуя то интригами своих префектов, то угрозами своей полиции, он был уверен, что выборы в провинциях дадут Национальному Собранию такую нравственную силу, которой оно никогда не имело; он надеялся также, что провинции дадут ему материальную силу для покорения Парижа.

Свою разбойничью войну против Парижа, восхваляемую в его собственных бюллетенях, и попытки его министров установить террор во всей Франции: он решил дополнить маленькой комедией примирения, которая должна была служить нескольким целям: она должна была обмануть провинцию, привлечь к нему парижский средний класс и, главное, дать возможность мнимым республиканцам Национального Собрания прикрыть доверием к Тьеру свою измену по отношению к Парижу. 21-го марта, когда у Тьера еще не было армии, он сказал пред Национальным Собранием: «Будь, что будет, а я не пошлю войска в Париж». 27-го марта он объявил: «Я вступил в должность, когда республика была уже совершившимся фактом, и я твердо решил охранять ее». В действительности же он именем республики подавлял революцию в Лионе и в Марселе, а его «помещики», заслышав слово «республика», заглушали его воем. После этого он совершившийся факт стал считать лишь предполагаемым фактом. Орлеанские принцы, которых он из предосторожности выжил из Бордо, теперь интриговали в Дре, открыто нарушая закон. Условия, о которых Тьер говорил в своих бесконечных совещаниях с парижскими и провинциальными депутатами, — как ни противоречивы были его заявления по тону и оттенку — всегда сводились к тому, что необходимо отомстить «той кучке преступников, которые виновны в убийстве Клемансо Тома и Леконта». Конечно, при этом само собою подразумевалось, что Париж и Франция считают самого Тьера лучшей республикой, подобно тому, как Тьер в 30-гг. признавал наилучшей республикой — Луи Филиппа. Но даже в этих условиях можно было сомневаться, в виду тех официальных толкований, которые давались им его министрами в Национальном Собрании; но не удовлетворяясь этим, он действовал еще через Дю-

фора. Старый орлеанский адвокат Дюфор постоянно при осадном положении играл роль верховного судьи, как теперь в 1871 г. при Тьере, так и в 1839 г. при Луи Филиппе и в 1849 г., во время президентства Луи-Бонапарта. Когда он не занимал должности министра, он обогащал себя, защищая парижских капиталистов, а нападая на законы, изданные им же, он приобрел имя политического деятеля. Не довольствуясь проведением через Национальное Собрание ряда репрессивных законов, которые должны были в случае падения Парижа уничтожить там последние остатки республиканской свободы, — он как бы указывал на будущую участь Парижа следующей мерой: делопроизводство военных судов казалось ему чрезчур длинной процедурой, он сократил ее и издал новый драконовский закон о ссылке. Революция 1848 года, уничтожив смертную казнь за политические преступления, заменила ее ссылкой. Луи-Бонапарт не решился, по крайней мере, открыто, восстановить гильотину. Версальскому помещицкому собранию, которое еще не осмеливалось даже намекнуть, что парижане в его глазах не бунтовщики, а разбойники, пришлось пока ограничиться в своей мести против Парижа новым дюфоревским законом о ссылке. При таких обстоятельствах Тьер не мог бы долго тянуть свою комедию примирения, да к тому же эта комедия вызвала — чего он в сущности и желал — бешеную ярость помещиков, которые, из-за своего тупоумия, не могли понять ни игры его, ни необходимости его лицемерия, притворства и сдержанности.

В виду муниципальных выборов, имевших быть 30-го апреля, Тьер разыграл 29-го апреля одну из своих сцен примирения; среди массы сантиментальных фраз, он, между прочим, воскликнул с трибуны Национального Собрания: «Существует только один заговор против республики — парижский заговор, вынуждающий нас проливать французскую кровь. Но я повторяю еще и еще раз: пусть сложат свое нечестивое оружие те, которые его подняли, и мы, остановив меч правосудия, заключим мирный договор, из которого будет исключена только кучка преступников». В ответ на крики помещиков, перебивавших его речь, он сказал: «Скажите мне, гг., убедительно прошу вас, разве я не прав? Разве вы, действительно, жалуете, что я мог сказать по справедливости, что преступников только кучка? Разве среди наших бедствий вы не почитаете счастьем, что люди, которые были способны пролить кровь Леконта и Клемансо Тома, являются редким исключением?»

Однако, Франция оставалась глуха к речам Тьера, льстившего себя надеждой пленить всех пением сирены. Из 700.000 муниципальных советников, выбранных в оставшихся французскими 35.000 общин, легитимисты, орлеанисты и бонапартисты не могли вместе провести даже 8.000 своих приверженцев. Дополнительные выборы и перебаллотировки привели к результатам, еще более враждебным правительству Тьера. Национальное Собрание не только не получило необходимой ему материальной поддержки от провинций, но потеряло последнее право на роль нравственной силы: право служить выражением всеобщей подачи голосов Франции. В довершение поражения вновь избранные муниципальные советники всех французских городов угрожали узурпировавшему власть версальскому собранию контр-собранием в Бордо.

Для Бисмарка настала тогда долгожданная минута энергичного вмешательства. Тонком повелителя он приказал Тьеру немедленно прислать во Франкфурт уполномоченных для окончательного заключения мира. Униженно и покорно поспешил Тьер исполнить приказание своего хозяина и господина, и послал во Франкфурт верного ему Жюля Фавра и Пуье Кертье. Пуье Кертье—«известный» руанский хлопчатобумажный фабрикант, горячий, даже холопский сторонник Второй Империи, не видевший в ней ничего скверного, кроме торгового договора с Англией, который вредил интересам его, как фабриканта. Как только Тьер еще в Бордо назначил его министром финансов, он начал нападать на этот «несчастный» договор, намекая на то, что он будет скоро уничтожен, и был настолько безстыден, что попробовал (хотя и безуспешно, так как не спросил разрешения Бисмарка) снова ввести старые протекционные пошлины против Эльзаса, чему, по его словам, не мешали тогда еще никакие международные договоры. Этот человек, смотревший на контр-революцию, как на средство понижения заработной платы в Руане, а на уступку французских провинций, как на средство повысить цены на свои товары во Франции, был достойным товарищем Жюля Фавра в последней, увенчавшей все его дело, измене.

Когда эта милая пара уполномоченных приехала во Франкфурт, Бисмарк по солдатски, как обыкновенно, скомандовал: «или восстановление империи, или беспрекословное принятие моих условий мира!» Условия его состояли в сокращении сроков уплаты военной контрибуции и занятии парижских фортов прусскими войсками

до тех пор, пока Бисмарк не будет иметь оснований быть довольным положением дел во Франции. Таким образом, Пруссия была признана верховным судьей внутренних дел Франции. Зато он выразил полную готовность отпустить из плена бонапартовскую армию для дистрибции Парижа и, в случае нужды, подкрепить ее войсками императора Вильгельма. В залог того, что сдержит свое слово, он отсрочил уплату первой части контрибуции до «умиротворения» Парижа. Тьер и его уполномоченные набросились, конечно, на такую приманку с жадностью. 10-го мая они подписали договор, и уже 21-го мая он был, благодаря их стараниям, утвержден Национальным Собранием.

В промежуток времени от заключения мира до возвращения из плена бонапартовских войск, Тьер, более чем когда-либо, находил нужным продолжать свою комедию примирения. Это было тем более необходимо потому, что его республиканские приспешники крайне нуждались в подходящем предлоге, чтобы смотреть сквозь пальцы на приготовление к войне с Парижем. Еще 8-го мая он отвечал депутатам среднего класса, пришедшим уговаривать его примириться: «Как только инсургенты согласятся на кашитуляцию, ворота Парижа будут на неделю открыты для всех, кроме убийц генералов Леконта и Клемана Тома».

Несколько дней спустя, когда «помещики» потребовали от него объяснения по поводу этого обещания, он уклонился от ответа, но многозначительно заметил: «Говорю вам, что между вами есть нетерпеливые люди, которые слишком уже спешат. Пусть потерпят еще неделю; в конце недели уже не будет никакой опасности, и задача будет как раз по силам их, решимости и способностям». Как только Мак-Магон смог дать ему обещание, что он вскоре вступит в Париж, Тьер заявил Национальному Собранию, что он «войдет в Париж с законом в руках и заставит мерзавцев, проливших кровь солдат и разрушивших публичные памятники, поплатиться за свои преступления». Когда наступила решительная минута, он заявил Национальному Собранию, что он «не даст пощады» Парижу, что приговор его уже произнесен; а своим бонапартовским разбойникам — что правительство позволяет им мстить Парижу, сколько им угодно. Наконец, когда измена открыла 21-го мая генералу Дуэ ворота Парижа, Тьер открыл 22-го мая своим «помещикам» «цель» своей комедии примирения, которой они так упорно не хотели понять. «Я говорил вам несколько дней тому назад, что мы приближаемся к цели;

сегодня я пришел сказать вам, что мы достигли ее. Порядок, справедливость и цивилизация, наконец, одержали победу!»

Да, это была победа. Цивилизация и справедливость буржуазного порядка выступают в своем истинном, полном ужаса, свете, когда рабы этого порядка встают против господ.

Тогда эта цивилизация и эта справедливость являются неприкрытым ничем варварством и беззаконной мстостью. Каждый новый кризис в классовой борьбе производящих богатство с присвояющими его показывает этот факт все с большей яркостью. Перед небывальными ужасами 1871 года бледнеют даже мерзости буржуазии в 1848 году. Самоотвержение, с которым весь парижский народ — мужчины, женщины и дети — еще целую неделю сражался после того, как версальцы ворвались в город, отражает величие его дела так же ярко, как зверские подвиги солдатчины отражают весь дух той цивилизации, наемными защитниками и мстителями за которую они были; цивилизации, которая после окончания битвы стояла перед задачей, куда девать массы трупов убитых ею людей. По истине, великая цивилизация!

Чтобы найти что-либо похожее на поведение Тьера и его палачей, надо вернуться ко временам Суллы и римских триумвиратов. То же хладнокровное массовое избиение людей; то же безразличное отношение палачей к полу и возрасту жертв; та же пытка пленных; те же гонения, только на этот раз уже против целого класса; та же дикая травля скрывшихся вождей, чтобы никто из них не спасся; те же доносы на политических и личных врагов; то же равнодушное избиение людей, совершенно непричастных к борьбе. Разница только в том, что римляне не имели минометов, чтобы расстреливать пленных толпами, что у них не было «в руках закона», а на устах слова «цивилизация».

Наряду с этими зверствами, посмотрите теперь на другую, еще более омерзительную сторону этой буржуазной цивилизации, описанную ее собственной печатью.

Парижский корреспондент одного лондонского консервативного журнала пишет: «Вдали раздаются еще выстрелы; раненые, брошенные на произвол судьбы, умирают между памятниками кладбища Père Lachaise; 6000 инсургентов в предсмертной борьбе отчаяния бродят, заблудившись в лабиринтах катакомб; по улицам гонят толпы несчастных, чтобы расстрелять их минометами. Воз-

мутительно видеть в такую минуту, как различные господа увеселяют себя в кафе, пошивая абсент, играя на бильярде и в домино, а кокетки нагло разгуливают по бульварам, возмутительно слышать, как громкие крики оргий, раздающиеся из отдельных кабинетов богатых ресторанов, нарушают ночную тишину!» Г. Эдуард Гервэ пишет в «Journal de Paris», версальской газете, запрещенной Коммуной: «Форма, в которой парижское население (!) вчера выражало свою радость, действительно, более, чем легкомысленна, и мы боимся, что дальше будет еще хуже. Париж имеет праздничный вид, что совершенно неуместно; если мы не хотим заслужить имени парижан «времен упадка», то надо это прекратить». Затем он приводит выдержку из Тацита: «И вот на следующее же утро после этой ужасной борьбы и даже раньше, чем она была совершенно закончена, униженный и развращенный Рим снова опустился в то болото распутства, которое разрушало его тело и оскверняло его душу—*alibi proelia et vulnere, alibi balnea porinaeque* (здесь битвы и раны, там бани и рестораны)» Г. Гервэ только забывает, что то «парижское население», о котором он говорит, есть только население тьеровского Парижа, Парижа шутеров, набежавших толпами из Версаля, Сен-Дени, Рюэля и Сен-Жермена; это действительно «Париж времен упадка».

Эта позорная цивилизация, основанная на рабстве труда, при каждом кровавом триумфе заглушает крики своих жертв, самоотверженных борцов за новое лучшее общество, во имя травли и клеветы, которая отдается эхом во всех концах света. Веселый Париж рабочих, времен Коммуны, превращается внезапно, под руками этих алчущих крови сторожевых псов «порядка», в какой-то ад. Что говорит это чудовищное превращение рассудку буржуазии всех стран? Только то, что Коммуна устроила заговор против цивилизации! Парижский народ с воодушевлением жертвует собою за Коммуну; ни в одной из происходивших до сих пор битв не было столько убитых. Что это значит? Только то, что Коммуна эта была не правительством народа, а насильственным захватом власти кучкой преступников! Парижские женщины с радостью умирают и на баррикадах и на месте казни. Что это значит? Только то, что злой дух Коммуны сделал из них Мегер и Гекат! Умеренность Коммуны во все время ее двухмесячного полного господства может сравниться только с героическим мужеством ее защиты. Что это значит? Только то, что Ком-

муна для того в течение двух месяцев и скрывала под личиной умеренности и гуманности свою дьявольскую кровожадность, чтобы дать ей свободно вылиться во время предсмертной агонии!

Рабочий Париж в своем героическом самопожертвовании предал огню здания и памятники. Когда поработители пролетариата рвут на куски его живое тело, то пусть они не надеются ликующе вернуться в свои неповрежденные жилища. Версальское правительство кричит: поджог! и напентывает своим прихвостням, вплоть до самых далеких деревень, такой лозунг: «травите всех моих врагов, как простых поджигателей». Буржуазия всего мира наслаждается массовым убийством людей *после* битвы, и она же возмущается, когда «осквернят» частные жилища!

Когда правительства дают своим военным флотам официальное разрешение «убивать, жечь и разрушать», есть ли это разрешение поджогов? Когда английские войска умышленно сожгли Капитолий в Вашингтоне и летний дворец китайского императора—был ли это поджог? Когда Тьер в течение шести недель бомбардировал Париж, уверяя, что желает разрушить только те дома, в которых есть люди, был ли это поджог? На войне огонь—вполне законное оружие. Здания, которые занял неприятель, бомбардируют, чтобы их сжечь. Когда обороняющимся приходится оставить эти здания, они сами их поджигают, чтобы нападающие не могли укрепиться в них. Неизбежная судьба всех зданий, мешающих какой бы то ни было регулярной армии,—быть сожженными. Но в войне рабов против их угнетателей, в этой единственной правомерной войне, какую только знает история, такой поступок считают, видите ли, преступлением! Коммуна пользовалась огнем, как средством обороны в самом строгом смысле слова; она воспользовалась им, чтобы не допустить версальских войск в те длинные, прямые улицы, которые Осман предусмотрительно приспособил для артиллерийского огня; она воспользовалась им, чтобы прикрыть свое отступление, так же, как версальцы, наступая, посылали вперед себя гранаты, которые разрушили домов не меньше, чем огонь Коммуны. Еще до сих пор остается спорным вопрос, какие здания зажжены были наступающими, какие—оборонявшимися. Да и оборонявшимся только тогда стали пользоваться огнем, когда версальские войска уже начали свои массовые избиения пленных. К тому же, Коммуна открыто объявила заранее, что если ее доведут до крайности, то она похоронит себя

под развалинами Парижа и сделает из Парижа вторую Москву; такое же обещание давало раньше и правительство народной обороны, но, конечно, только для того, чтобы замаскировать свою измену. Для этого Трошю и приготовил запас керосина. Коммуна знала, что враги ее очень мало интересовались парижским народом, но очень дорожили своими домами в Париже. А Тьер, с своей стороны, объявил, что он будет метить беспощадно. Когда, с одной стороны, армия его была уже готова к бою, а с другой, пруссаки запирали все выходы, он воскликнул: «я буду беспощаден! Искупление должно быть полное, суд строгий!» Если парижские рабочие поступали, как вандалы, то это был вандализм отчаянной обороны, а не вандализм торжествующих победителей; это был тот вандализм, в котором прозвигны и христиане, истребившие действительно бесценные памятники искусства древнего языческого мира; и даже этот вандализм истощил оправдала, потому что он был неизбежным и, сравнительно, незначительным моментом в колоссальной борьбе нового, нарождавшегося общества с разлагавшимся старым. И уже всего менее походил поступок Коммуны на вандализм Османа, уничтоживший исторический Париж, чтобы очистить место Парижу проходимцев.

А произведенная Коммуной казнь шестидесяти четырех заложников, в том числе парижского архиепископа! В июне 1848 года буржуазия и ее армия восстановили давно уже исчезнувший военный обычай расстреливания беззащитных пленных. После этого этот зверский обычай более или менее часто практиковался при всех расправах с народными восстаниями в Европе и Индии, что ясно доказывает, что он является действительным «прогрессом цивилизации!» С другой стороны, пруссаки во Франции снова ввели обычай брать заложников—ни в чем неповинных людей, которые своею жизнью должны были отвечать за действия других. Когда Тьер, как мы видели, еще в начале войны ввел гуманный обычай расстреливания пленных коммунаров, Коммуне не осталось больше никаких средств для спасения жизни этих пленных, как прибегнуть к прусскому обычаю брать заложников. Продолжая, тем не менее расстреливать пленных, версальцы сами отдавали на казнь своих заложников. Как же можно было еще дальше щадить их жизнь после той кровавой бани, кторую преторианцы Мак-Магона отпраздновали свое вступление в Париж? Неужели и последняя защита от неостанавливавшегося ни пред чем зверства буржуазии—взятие заложников—должна была

остаться только шуткою? Истинный убийца архиепископа Дарбуа — Тьер. Коммуна несколько раз предлагала обменять архиепископа и многих других священников на одного только Бланки, которого так крепко держал Тьер. Но последний упорно отказывался от этой мены. Он знал, что в лице Бланки он дает Коммуне голову, архиепископ гораздо более будет полезен ему, когда будет... трупом. В этом случае Тьер подражал Кавеньяку. Как были возмущены в июне 1848 гг. Кавеньяк и его «люди порядка», когда они обвинили инсургентов в убийстве архиепископа Афра! На деле они прекрасно знали, что архиепископ был застрелен солдатами «партии порядка». Жакмэ, генеральный викарий архиепископа, сейчас же после происшествия публично засвидетельствовал им это.

То, что «партия порядка» после всех своих кровавых оргий распространяла столько слухов о своих жертвах, доказывает лишь, что напши буржуа считают себя законными наследниками древних феодалов, которые признавали за собой право употреблять против плебеев всякое оружие, но считали преступлением, если плебеи сами брались за какое бы то ни было оружие.

Заговор господствующего класса для подавления революции при помощи гражданской войны, под покровительством чужеземного завоевателя, заговор, который мы проследили с сентября до вступления преторианцев Мак-Магона в ворота Сен-Клу, этот заговор закончился кровавой бойней в Париже. Бисмарк самодовольно смотрит на развалины Парижа и, вероятно, видит в них «первый шаг» ко всеобщему разрушению больших городов; ведь он любил мечтать об этом, когда он был еще только простым помещиком — депутатом прусской *Chambre introuvable* 1849 года. Он самодовольно любит трупам парижского пролетариата. Для него это не только искоренение революции, но и уничтожение Франции, которая теперь, в самом деле, обезглавлена и, притом, самим же французским правительством. Поверхностный, как все преуспевающие государственные мужи, он видит лишь внешнюю сторону этого громадного исторического события. Разве видели до сих пор в истории победителя, который решился бы увенчать свою победу ролью жандарма и наемного убийцы в руках побежденного правительства? Между Пруссией и Коммуной не было войны. Наоборот, Коммуна согласилась на предварительные условия мира, и Пруссия объявила нейтралитет. Значит, Пруссия не была воюющей стороной. Она действовала,

как подлый наемный убийца, потому что взялась за такое дело, которое не представляло для нее никакой опасности,—как наемный убийца,—потому что она обусловила падением Парижа уплату ей 500 миллионов — этой кровавой цены убийства. Вот тут-то и проявился истинный характер войны, которая была послана Провидением для наказания безбожной и развратной Франции рукой глубоко-нравственной и набожной Германии! Это небывалое нарушение международного права, даже с точки зрения юристов старого мира, должно было заставить «цивилизованные» правительства Европы объявить вне законов правонарушительницу Пруссию, бывшую простым орудием в руках петербургского кабинета, но оно дало им только повод обсуждать вопрос,—не выдать ли версальским палачам и тех немногих жертв войны, которым удалось проскользнуть через двойную цепь, окружавшую Париж!

После самой ужасной войны новейшего времени, победившая и побежденная армии соединяются, чтобы вместе избивать пролетариат. Такое неслыханное событие доказывает не то, что новое, пробивающее себе дорогу общество окончательно поражено, как думал Бисмарк, нет, оно доказывает полнейшее разложение старого буржуазного общества. Величайший героический подвиг, на который старый мир еще был способен, это народная война; но и она теперь оказывается только чистейшей мошеннической проделкой правительства; эта проделка не имеет никакой другой цели, кроме отсрочки классовой борьбы, и она сразу летит к чорту, как только классовая борьба вспыхивает пожаром гражданской войны. Классовое господство уже не может больше прикрываться национальным мундиром; против пролетариата национальные правительства едино суть!

После Троицына дня 1871 г. не может уже быть ни мира, ни перемирия между французскими рабочими и присвоителями продукта их труда. Хотя железная рука наемной солдатчины на время и может придавить оба эти класса, но борьба их снова загорится и неизбежно будет все сильнее разгораться, и не может быть никакого сомнения в том, кто, в конце концов, останется победителем: немногие ли присвоители или огромное большинство трудящихся. Французские рабочие являются лишь авангардом всего современного пролетариата.

Европейские правительства подавлением Парижа показывают на деле международный характер классового господства, и сами же они

вопят в то же время на весь мир, что главной причиной этого несчастия является международное Товарищество Рабочих, т.-е., международная контр-организация труда против всемирного заговора капитала. Тьер обвиняет эту организацию в том, что она деспот труда и выдает себя за освободителя труда. Пикар запретил все сношения французских членов Интернационала с заграничными членами его. Старик граф Жюбер, ставший уже мумией, бывший соучастник Тьера по 1835 году, заявил, что каждое правительство должно ставить своей главной задачей искоренение его. Помещики, депутаты Национального Собрания, поднимают против него рев, а европейская пресса хором поддерживает их. Один почтенный французский писатель, ничего общего не имеющий с нашим Международным Товариществом Рабочих, сказал о нем: «Члены Центрального Комитета национальной гвардии и большая часть членов Коммуны—самые деятельные, ясные, и энергичные головы Международного Товарищества Рабочих... Это—люди вполне честные, искренние, умные, полные самоотвержения, чистые и фанатичные в *лучшем* смысле этого слова. Буржуазный рассудок, пропитанный полициейной, разумеется, представляет себе Международное Товарищество рабочих в виде какого-то тайного заговорщического общества, центральное правление которого от времени до времени назначает восстания в разных странах. На самом же деле наше Международное Товарищество Рабочих есть лишь международный союз, объединяющий передовых рабочих разных стран цивилизованного мира. Где бы ни проявлялась классовая борьба, какие бы формы она ни принимала, при каких бы условиях она ни происходила, каково бы ни было ее содержание, везде на первом месте стоят, само собой разумеется, члены нашего М. Товарищества Рабочих. Та почва, на которой выросло это Товарищество, есть само современное общество. Это товарищество не может быть искоренено, сколько бы крови ни было пролито. Чтобы искоренить его, правительства должны были бы искоренить, прежде всего, принудительное господство капитала над трудом, т.-е., искоренить условие своего собственного существования».

Париж рабочих со своей Коммуной всегда будет чествуем, как славный предвестник нового общества. Его мученики воздвигли себе памятник в великом сердце рабочего класса. Его палачей история уже теперь пригвоздила к тому позорному столбу, от которого ничто не в силах будет их оторвать.

Цена 5 рублей.

80с

Никем из книгопродавцев указанная на книге цена не может быть повышена.

Государственное издательство.

СКЛАД ИЗДАНИЯ:

Центральный Книжный Склад Московского Совета Р. и К. Д.
Москва, Кузнецкий Мост. д. 1.